

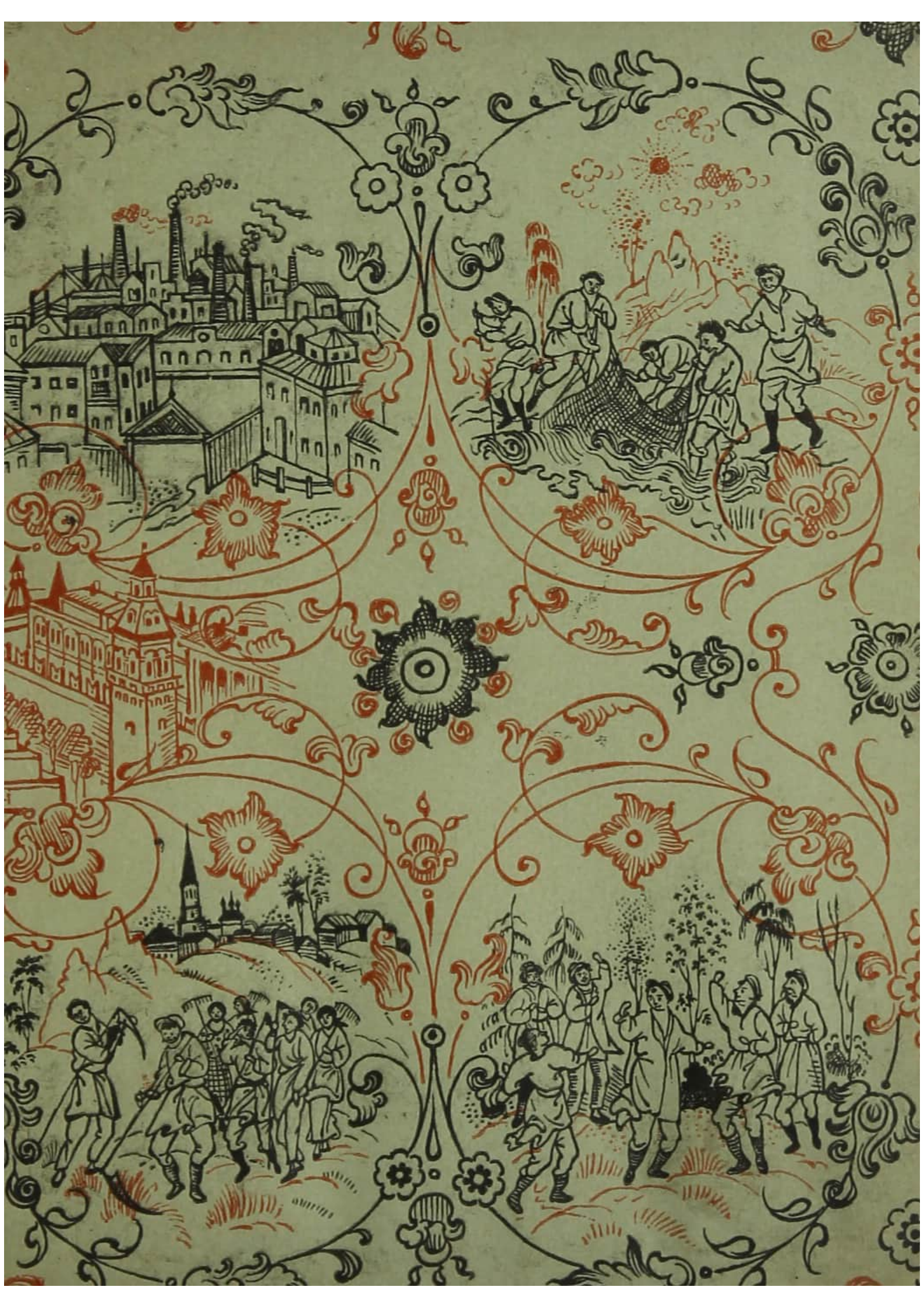
П 324

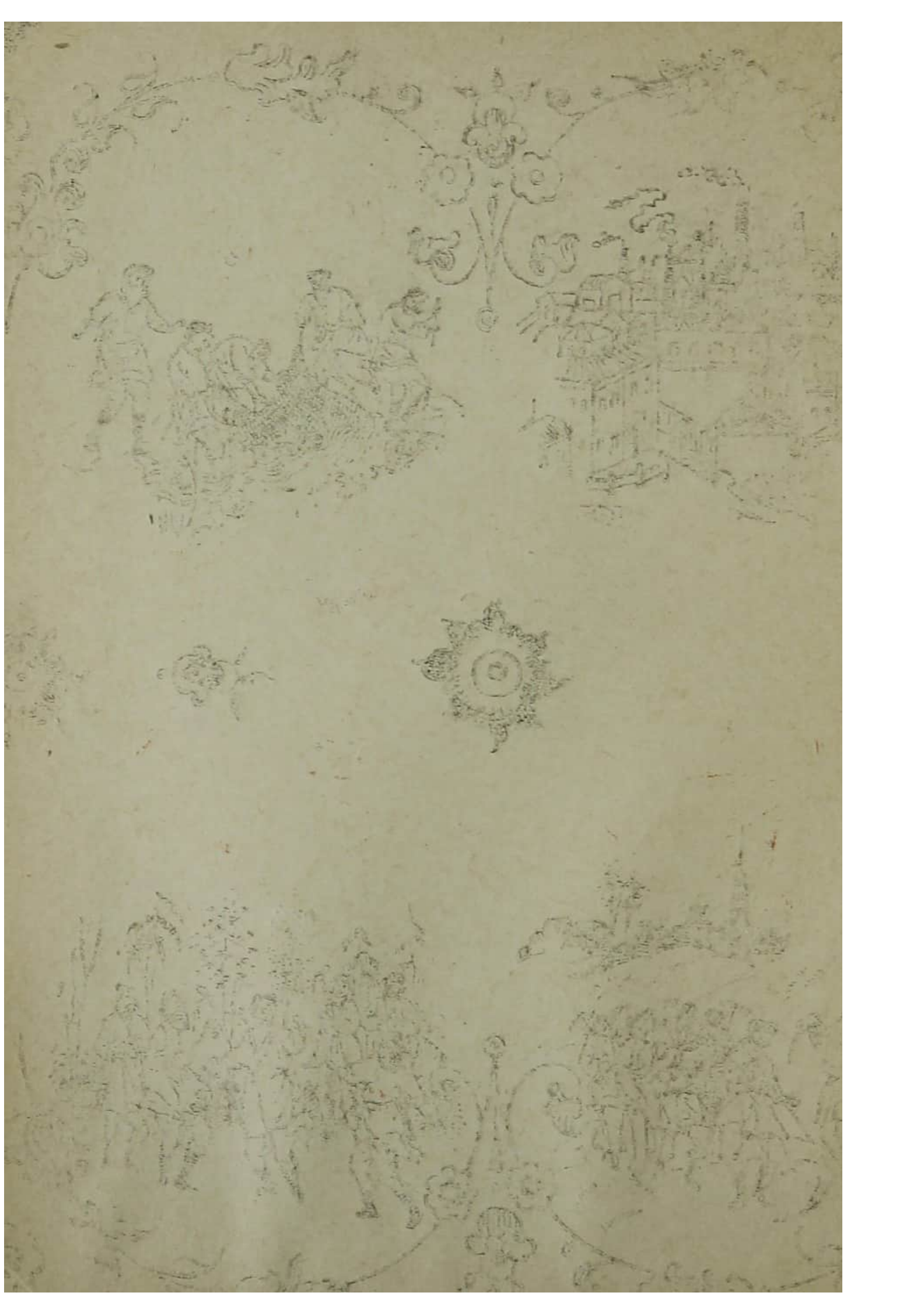
БОР. ПИЛЬНЯК

СОЗРЕВАНИЕ  
ПЛОДОВ

ГОСЛИТЕРАТУРА  
1953









ГОСЛИТИЗДАТ

пров. 07

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач \_\_\_\_\_

Воскр. гин. Т. 1 млн. З. 384—75







П324.

с.

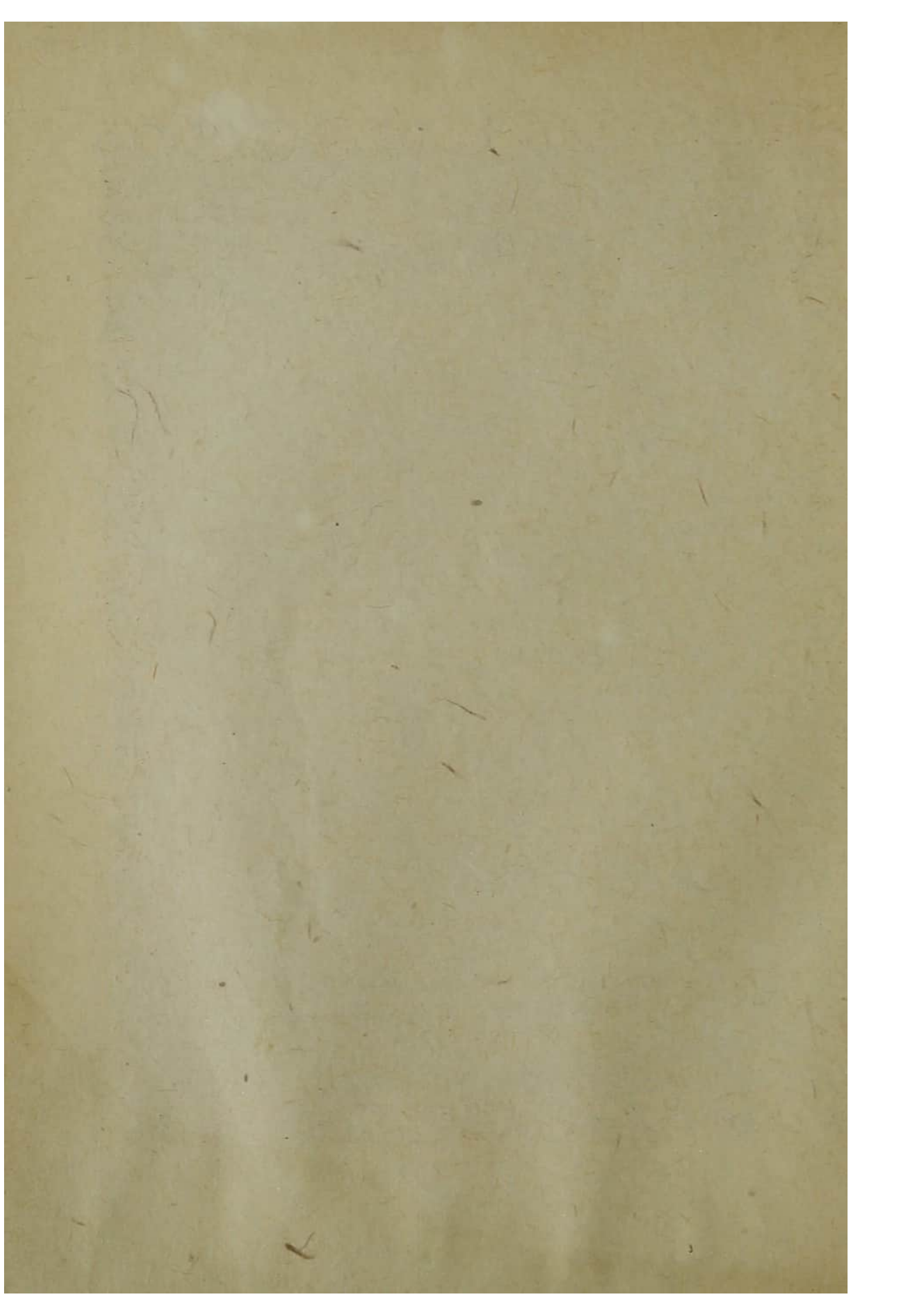
БОР. ПИЛЬНЯК

СОЗРЕВАНИЕ  
ПЛОДОВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“  
МОСКВА 1936

36 М 16.271





## ГЛАВА ПЕРВАЯ

... В четвертом часу дня, когда ротационные машины выбрасывали последние тысячи экземпляров, те, которые пойдут с дальними поездами, в этот час в экспедиционной, уже вручную, именно на эти последние тысячи экземпляров человек механически наклеивал адреса:

— № 504 (Iswestia Ziks Iemen Sanaa «Аравия»  
— «Hedjos. Аравия» —  
— № 1219 iswestia Ziks. Colombia Soutn. Южная Америка — Buenos Aires. Аргентина — Montevideo Уругвай. — «Pretoria. Южная Африка» —  
— «Sydney N.S.W, Австралия» — «Афганистан». Урумчи. Западный Китай. — «Madrid. Испания» — Los Angelos. California. Америка»... «Athènes. Греция». «Iswestia Ziks». «Iswestia Ziks» — Известия — Известия — Известия — № 1881» — № 1881» — № — № — USA — USA — USA — «Германия, Франция, Англия, Япония, Китай, Финляндия» —

Человек стер со лба пот.

Человек наклеивал последний адрес:

— «№ 235 Iswestia Ziks. Hibreria Waticana. Citta del Waticana. Италия» —

адрес Ватиканской библиотеки. За окном на тесном дворе зисы разгружались рулонами свежей бумаги и грузились газетными тюками. Свежая бумага привозилась с вокзалов, газетные тюки шли на вокзалы — семь вагонов бумаги и полторы тысячи килограмм типографской краски в дневном выпуске газеты.

Над тесным двором теснилось небо.

Первые стереотипы были отлиты в час тридцать семь минут ночи. Ротационные машины заработали в час пятьдесят пять минут. Первые грузовики пошли в два часа пятнадцать минут. Первыми получили газету местные почтовые конторы и пригородные поезда. В шесть часов утра почтальоны разносили газету по предприятиям, газета продавалась в киосках. Последние автомобили уже вечером шли к вокзалам дальних поездов. Поезда расходились в ночь во все семь социалистических республик, от Мурманска до Эривани, от Винницы до Владивостока, к городам, к заводам, к селам, к пустошам. Поезда шли к границам. В багажных вагонах лежали газетные тюки. В Атлантическом океане, под экватором, в пути к Аргентине и на Капштадт, в Индийском океане, под экватором в пути, к Сиднею, в Тихом океане, в Арктическом океане — в ночи, перед рассветом — бухали волны о корабельные борты, в корабельных трюмах лежали «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Через какие-то дни от Мурманска в Кольскую тундру, от Архангельска в Мезень — по тундре — побегут олени. В среднеазиатских песках зарывкают газы и заревут пропеллерами анты. Через недели из Геджаса в Емен Санаа —

горными перевалами, в зное Аравийской пустыни — ишак, глухо позвякивая колокольцом на шее, понесет постовую хурджину.

Тылом ладони человек стер со лба пот. Тряпкой он стер клей с пальцев. Он бросил тряпку в угол оцинкованного стола. Ротационки под ногами уже смолкли. Дневной свет сменялся электричеством. Гартовары разбивали стереотипы и заправляли металлом наборные машины. Цех пахнул свинцом и краской. Грузовой лифт кряхтел под тяжестью рулонов. Холодная струя воздуха, шелестя бумажной рванью, поднималась из подземелья по шахте лифта, гул шахты казался гулом воздуха, и воздух из подземелья пахнул одновременно бензином, потом и сосной. В подземельи человек, раздевшись донага и постояв под душем, переделался в пиджачный костюм и подвязал галстук. Маленьким двориком рабочий перешел в старый дом, выходящий на угол Дмитровки и Страстного монастыря, в тот дом, где бывал Пушкин, быт и обычай которого послужили Грибоедову для его «Горя от ума». В этом доме помещались столовая, красная комната, местком-медпункт. За окном пустой красной комнаты, за средневековым переулком, забитым светом фотохроники «Известий», автомобилями и трамваями, поднималась средневековая, как проулок, монастырская стена. Раньше столетия стена охраняла Страстной женский монастырь. Теперь там был антирелигиозный музей. В зму шестнадцатого-семнадцатого, под самый Октябрь, у обалдевших от фронтов и предчувствия революции офицеров интеллигентского происхождения, у литераторов и у адвокатских жен был обычай заходить после всеобщего пьянства к заутрене в Страстной монастырь, слушать спьяна бред

церковных песнопений, объясняться в алкогольно-истерическом перенапряжении с богом о вечном и временном.

Побыв в столовой, рабочий прошел на Пушкинскую площадь, подождал троллейбуса, сел и поехал в поселок Сокол.

На парадном «Известий» работал лифт. Он походил на термометр, поднимаясь от нуля первого до температуры шестого этажа, до редакционных кабинетов, до мозга газеты. Ртутью была лифтерша в синем пиджаке с нашивками. В подъезде всегда беседовали почтенные старики — швейцары — знавшие всю русскую, союзную и многую иностранную журналистскую, писательскую, общество-искусствоведческую корпорацию по качествам их галош. Лифт ходил по этажам советской культуры и советских дел. Главный врач «Известий» доктор Константин Александрович Винокуров, невро-терапевт, в медицинском обществе вел дискуссию, отрицая «свинцовое изменение психики» печатников и газетчиков, теорию, выдвигаемую некоторыми московскими психоаналитиками. Наблюдая за полутора тысячами рабочих, служащих и сотрудников комбината «Известий», доктор Винокуров не находил этого «свинцового изменения психики». Основным полем его наблюдений были печатники. Шестой этаж — редакция — не был типичным — литературная советская интеллигенция, редакторы, литераторы, журналисты. Пятый и четвертый этажи — бухгалтерия, отдел распространения — были просторны, чопорноваты и тихи, как всяческие бухгалтерские конторы. Даже в производственных этажах доктор Винокуров не считал характерными для печатной промышленности цеха ротационный и стереотипный вместе с

гальваническим отделением сталевания: у ротационнок работали рабочие-металлисты так же, как они работали б около фрезеров и штамповальных машин в любом холодном цехе машиностроительного завода,— в стереотипном цехе работали литейщики, как они работали б в любом горячем цехе металлургического завода. Позвонком и основным полем для наблюдения «свинцового изменения психики» был наборный цех, в меньшей степени цинкографский, еще в меньшей — брошировочный, но и здесь доктор Винокуров «свинцового изменения психики» не находил. Он утверждал, что комбинат «Известий» — это большое и сложное фабрично-заводское предприятие, оформляющее события и производящее организованную политическую мысль, обслуживаемое всеми видами рабочего и интеллигентского труда,— предприятие и только. Лифт проходил через все этажи предприятия и, по существу говоря, через все этажи напластований страны. На пятый этаж лифтерша привозила миллионы рублей зарплаты, гонораров, счетов. Четвертый этаж ассимилировал в себе подписную плату и плату за объявления. Бухгалтерия четвертого и пятого этажей расписывала сложнейшие кружева цифр, учета, расчета и бюрократии. Первые этажи размножали продукцию до миллиона экземпляров. Шестой этаж оформлял продукцию,— события, политическую волю и политические устремления страны. Лифтерша ездила по этажам. Температура событий всегда отражалась на подвижности лифта. События приносились страной и жизнью. События бросались в страну и жизнь. События оформлялись газетой, шестым этажом, редакцией, мозгом, сотрудниками.

В четвертом часу дня заканчивались дела вчерашнего номера. И в это же время возникал завтрашний номер. Редакторы, сотрудники редакции, заведующие отделами собирались на совещание, называемое летучкой. ТАСС приносил телеграммы сегодняшних событий Союза и мира. Гарри додиковывал свою статью. Фельдъегери привозили правительственные распоряжения. Очерки и рассказы литераторов ждали своей очереди. Собрание начиналось с обсуждения вчерашнего номера, то есть того, который читался читателем сегодня. Собрание обсуждало передовую, а, стало быть, и целеустановки номера, который будет читаться завтра. Передовая срочно писалась. Вслед передовой заведующий отделом советского строительства спорил с иностранным отделом о количестве строчек на завтра. В комнате через коридор стенографистки расшифровывали телефонные переговоры с Ленинградом, Харьковом, Свердловском. Номер на завтра принимал свои формы. Отделы получали свои количества строчек и темы. Подвалы извлекались из запаса. Сотрудники расходились по кабинетам приводить темы и строчки в порядок. Иные садились писать. Иные диктовали. Иные рылись в письменных столах. Телеграф и телефон продолжали приносить события Японии, Америки, Днепропетровска, острова Колгуева, съезда геологов в Мурманске. События были буднями. Мысль завтрашнего дня была построена, политическая воля, взгляд на события в Германии и Франции, и в Сычуане, и в Свердловске, поэтический рассказ о буднях Колгуева, ирония орловского головоуятия просвещенцев.

У секретаря редакции и у редактора начинался прием. Поэт Пастернак принес переводы грузин-



ских поэтов. Безымянный человек сообщил, что он два года прожил в Игарке, вел дневник, написал очерки,— намерен предложить их редакции и хотел бы заручиться корреспондентским билетом, ибо завтра отправляется в Монголо-Бурятскую республику. Фельдъегерь привез пакет из ВЦИК. Нежданно и весело, в смазных сапогах ввалился Искра, разъездной корреспондент, стал рассказывать о Кузнецкстрое, откуда приехал утром,— секретарь редакции охладил веселье, сообщив, что сегодня же вечером Искра уезжает в Архангельск. Зашел к секретарю прощаться, посидел\* немного и ушел к редактору японский корреспондент ТАССа товарищ Наги,— секретарь вспомнил, что не ответил на телеграмму американского тассовского корреспондента — Дюранта, и написал ответ. Принесли телеграмму из Парижа от Жака Садуля двести строк,— секретарь сократил строки с двухсот до семидесяти пяти. Заходил прощаться писатель Сергей Арбеков, уезжавший на автомобиле в Ивановскую область, в Палех, на лето и на отдых.

Москва погружалась в ночь. Лифт вез в редакцию события Союза и мира. От шести до половины десятого лифт замедлял свою скорость. Ротационки молчали. Пустовали конторы. Ротационки работали в час пятьдесят пять. Лифт тогда безмолвствовал, ибо матрицы событий были уже отлиты.

В тысяче километров от Москвы, в одинаковой мере на Востоке иль Западе, на Севере иль Юго-востоке, двое сидели в полметровом расстоянии от лошадиного хвоста. Они ехали уже очень долго, промерзли, устали. Быть может, один из них был корреспондентом «Известий»,— но может быть, он

был председателем местного колхоза. На станции затемно он получил почту, письма, газеты. Они приехали в село, распрягли лошадь, соскребли на пороге грязь с сапог, засветили лампу. Предколхоза открыл газету. Его глаза были усталы. Его глаза сделались и веселыми и испуганными одновременно, никак не утомленными.

— О нас! — о нас написано?! — сказал он и испуганно и радостно.

— «301, 38<sup>th</sup>» Street. New York — City» — «USA» —  
Америка. —



## ГЛАВА ВТОРАЯ

Изменение фамилий, замена их псевдонимами вызывалась и вызывается различными причинами,— у актеров и писателей в первую очередь — эстетическими. Циклопов превращается в Вершинина. Рыбин — в Вольского. Келлер таким образом превратился в Аребекова,— у Келлера, впрочем, это было еще и потому, что Келлер — немецкая фамилия, а Келлер начинал печататься в годы мировой войны. Эстетизм же отлился в выборе псевдонима, более удобного для лермонтовских времен «Покорения» Кавказа и увлечения Кавказом, чем для тех лет, которые пошли в России за мировой войною. А за годами мировой войны в России — в СССР — пошли лета перестроения человеческого труда, а стало быть, и перестроения человека. Что касается труда человеческого, то при социализме труд должен идти рука-об-руку с искусством, превращаясь в искусство. У литераторов предметом труда является именно искусство. Это никак не значит, что все литераторы — социалисты. Это обстоятельство — имен-

но то, что труд литератора есть искусство — скорее осложняло путь писателя к социализму. Социалистический труд, он же искусство, — обязательно труд коллективного сознания. Литераторы ж работали единолично, выращивая свои индивидуальности, где Пушкин не походил на Лермонтова, ибо требовалось, чтоб Пастернак не походил на Маяковского, а Всеволод Иванов на Константина Федина и Сергея Арбекова; Арбеков, Демьян Бедный, Гладков, Иванов, Киршон, Леонов, Маяковский, Пастернак, Толстой, Федин, Шолохов — революционные русские писатели различных литературных и социальных истоков, делавшие литературу и не походившие друг на друга.

Арбеков делал себе летний отпуск. Он уезжал в Палех, в Ивановскую промышленную область, в старейшие русские Володимирско-Суздальские земли. Он отправлялся на автомобиле, чтобы иметь возможность видеть всю область. В Иваново он должен был встретить на вокзале жену и сына с нянькой, ехавших на поезде, чтоб не трястись по дорожным ухабам.

Автомобиль вышел из Москвы в семь вечера.

Ехали — Арбеков, его товарищ рабочий и автомобилист Сеницын Яков Андреевич, да третий, которого Сеницын прозвал монахом, реставратор Павел Павлович Калашников.

Калашников возник в поездке случайно.

Арбеков всю ту весну собирал материалы о русском семнадцатом веке. Анна Андреевна Ахматова передала Арбекову книгу о тульских и каширских металлургических заводах семнадцатого века. В книге рассказывалось о трех иностранцах, об Андрее Вениусе, Петре Марселисе и Филимоне Акемо, ко-

торые — впервые в России, в тогдашней Руси — строили металлургические заводы. Обстоятельства возникновения этих заводов оказались чрезвычайно интересными. Назвать их феодальными мануфактурами — не точно, ибо они были первыми капиталистическими предприятиями в Руси. Возникшие в год окончательного юридического оформления и закрепления крепостного права, в 1649-й, оснащенные по договору с царем Алексеем волостями и крепостным населением, эти заводы отказались от крепостного труда и пользовались вольнонаемным. Заводы были концессионными, они лили на царя пушки, сверлили пищали и ковали сабли по договору, но — сверх договора — через Архангельск, Белым морем — эти заводы отправляли пушки на голландские рынки, в вольный город Гамбург, — то есть Русия в семнадцатом веке экспортировала железо в Европу, и это железо конкурировало с европейским, — со шведским — «свейским» — в первую очередь. Будучи концессионными, подчиненные Польскому приказу, эти заводы оказались государством в государстве, не подчиняясь ни воеводе, ни губному старосте, чинясь своими законами; но они существовали в феодальном государстве, и возникал необыкновенный социальный конгломерат: авантюристы-предприниматели и рабочие, списки которых уцелели до сих пор, где против каждой фамилии рабочего сказано: «сказался он Петрушка родился-де на заводах, а отец его ис которого города пришел то не упомнит», — авантюристы-предприниматели и — беглые рабочие, те самые крепостные, которые бежали от узаконения этого «права» по всей Руси семнадцатого века — от годуновского Юрьева дня до Дона, до Яика, до Гурьева, до Сте-

пана Тимофеевича Разина. Вениус был штатным переводчиком Посольского приказа царя Алексея, Марселис строил архангельский гостиный двор, то есть архангельскую торговую крепость, — Вениус, Марселис, Акема, были приняты при дворе царя, — но сохранившиеся архивы указывают, что рабочие их заводов не только читали подметные письма Разина, а и принимали в разинском движении участие. Быть может, там, на этих заводах, в семнадцатом веке можно найти одну из первых глав русского рабочего движения? — во всяком случае, эти заводы были первой главой русской металлургии. Арбеков стал собирать материалы, разбросанные по семнадцатому веку. Он наткнулся на множество обстоятельств, которые ему казались семенами романов и образов. Марселис принимал участие в постройке под Коломною в селе Дидилове первого русского фрегата «Орел» — того самого, который — пророчески — через полтора года после спуска на воду был сожжен в Астрахани Степаном Разиным. Но там же Арбеков наткнулся на архивную фразу из челобитной Петра Марселиса, где Марселис пишет царю Алексею о том, что-де дедиловский воевода Замуровский «выслал всех казаков и ровщиков на Воронеж к твоему великого государя к струговому делу», — это было в 1674 году, — то есть: воронежский флот строительством начат не при Петре, не Петром, но — Алексеем. Архивы перепричесывали историю. Поиски архивных материалов привели Арбекова в Исторический музей, в Ленинскую библиотеку — как это всегда и бывает, когда человек опускает свои внимание и время в новую область знания, — так приблизили семнадцатый век, точно он был вчера. Появились знакомые, которые разбира-

лись в семнадцатом веке лучше, чем в весне 1935 года. Новые друзья наделали подарков: подарили пятисвечник семнадцатого века с царским двуглавым орлом, ендову, кастрюлю, медную чернильницу (с двумя колечками, ибо, оказывается, писцы в семнадцатом веке носили чернильницы на привязи у пояса, равно как гусиное перо закладывали за ухо, дабы их все признавали). И подарили — триптих, складень с тремя иконами, в ящике, отделанном толстою кожей, в железе. Складень был записан, — даритель сказал, что он пришлет реставратора. Складень совершенно не требовался Арбекову, но подарен был так внимательно и полноценно, что Арбеков, принимая подарок, сказал тоном знатока и любителя семнадцатого столетия:

— Да, конечно, реставратор необходим, пожалуйста, пришлите, спасибо!..

И третий, кто ехал с Сергеем Ивановичем на автомобиле, — был именно этот реставратор, Павел Павлович Калашников. Он пришел к Арбекову за два дня до поездки, утром, не предупредив. Давно уже исчезли в России мастеровские картузы с лакированными козырьками, мастеровской не то пиджак, не то сюртук, сапоги в гармошку, рубашка навывпуск с пояском в кистях. И совершенно исчезли прическа «в кружок», полудьяконского фасона, борода и усы. Пришедший и причесан был в кружок, и тощая бородка росла у него на шее, и картуз у него был с лакированным кожаным козырьком, черный воронообразный, столетний. Он отрекомендовался:

— Павел Павлович Калашников, художник-реставратор, — и улыбнулся совершенно детскими глазами. Он потрогал складень, как библиофил инкунаболу. Пальцы его были очень длинные, руки бес-



сильны. Лет ему было — двадцать пять, двадцать семь. Глаза его над складнем восхищенно засветились. Он заговорил языком семнадцатого века. Было совершенно ясно — знаток, человек призвания, — Алеша, что ли, Карамазов? — и это в тридцать пятом году! — Разговор пошел о византийском влиянии на русскую иконопись, о новгородском, владими́ро-суздальском, ярославском, московском иконописных стилях. Калашников оказался совершенным знатоком не только русской иконописи, но всей русской истории. Арбеков спросил:

— Вы что же, иконо-реставрационную работу по наследству ведете? — не палешанин ли? — вы откуда родом?

— Нет, я московский. Меня с детства старина манила. Мой отец — столяр. Окончив семилетку, я пошел учиться в государственные реставрационные мастерские, окончил, работаю. — И Калашников спросил в свою очередь: — А вы много по иностранным землям бывали?

— Был, — ответил Арбеков. — Много.

— Мне не доводилось бывать, не знаю, — но имею предположение, что нету лучше русского народа. Русский народ — хороший народ, сердечный, культурный, вдумчивый, — Павел Павлович помолчал, — ласковый народ. Я, когда у меня есть свободное время, путешествую, на поезде и пешком. Был во Владимире, — до Суздаля, к сожалению, не дошел... Был в Новгороде Великом, в Ростове Великом, в Переяславе Залесском, во Пскове... Древний русский народ, ласковый...

Сергей Иванович собирался в Палех. Дорога лежала через Владимир, Суздаль, Иваново, Шую. Двадцать один год тому назад, в год мировой вой-



ны, этому Павлу Павловичу Калашникову было, по-  
ди, лет пять, шесть. Война, революция, новая стра-  
на, новые поколения,— а перед Арбековым, со  
складнем на руках, сидел паренек, свалившийся с  
семнадцатого века, причем у паренька были тощие  
глаза и пальцы, но телосложения он был крупного  
и сытого. Такие люди не попадались Арбекову на  
глаза,— тихий паренек, ласковый, мастеровой по  
реставрации икон, никак Арбекову не нужных. Раз-  
глядеть паренька казалось любопытным.

Арбеков сказал:

— Послезавтра я поеду в Иваново, проедем че-  
рез Владимир и Суздаль...

— К Покрову, к Покрову на Нерле надо заехать,  
обязательно надо побывать там, и Боголюбов ми-  
новать невозможно,— молвил Павел Павлович,  
вздыхнул и опустил глаза, точно прятал их в воспо-  
минания.

— Ну, так вот, едемте со мною. Доедете до Ива-  
нова, оттуда вернетесь поездом. Приходите после-  
завтра в три часа.

Павел Павлович порозовел, как девица, еще ни-  
же опустил глаза и прошептал:

— Я поеду... я поеду, если позволите... двенад-  
цатый век! века!..

Пришел Павел Павлович Калашников — в арха-  
луке неизвестного фасона, вроде священнического  
пальто, совсем без вещей, даже без мыла с поло-  
тенцем,— ровно в три часа. Яков Андреевич рабо-  
чий, автомобилист,— сразу окрестил Павла Павло-  
вича монахом, бесполезным грузом. Опоздали, вые-  
хали в семь. За руль сел Арбеков. Яков Андреевич  
на ходу обслушивал машину, работу мотора, скрип  
рессор. До Ногинска ехали пятьдесят минут. От

Ногинска — на каждых десяти метрах поминали не-  
добрым словом Цудортранс: дорога оказалась по-  
истине ужасной, куда хуже, чем если б можно было  
ехать целиной. Монах до Ногинска наслаждался  
быстротой движения, приговаривал, — «как на ков-  
ре-самолете лечу!» — и за Ногинском наслаждал-  
ся — туманами, русалочьими косами, пейзажами — к  
вящему расстройству Якова Андреевича, который  
поминал Цудортранс и презирал пейзажи, раз они  
лежат вокруг такой паршивой дороги, не жалеющей  
рессор и его, Якова Андреевича, труда и нервов.

Туманы, действительно, заплетали дорожные уха-  
бы. В туманах пели соловьи, десятки, сотни соловь-  
ев. В туманах растворялась поэзия. Туманы — ру-  
салочьи косы — напоминали о русском дохристиан-  
ском фольклоре. Ночь не могла окончательно по-  
бороть дня, заря сходилась с зарей. Небо было зе-  
лено, зыбко, просторно. Зеленые пейзажи за тума-  
нами и под июньским небом напоминали видения  
снов. Горько и сладостно пахло березой. Старое  
Владимирское шоссе — Володимирка — дорога катор-  
жников и преданий о них, дорога разбойничьих  
истин и разбойничьих монастырей, кандаального зво-  
на и смерти — была разворочена автомобилями из  
Горького, как новостройка. У дороги горели кост-  
ры — парнишек из ночного, прохожих, дорожных  
работников. Костры сказывали о володимирских  
преданиях. Павел Павлович узревал за кострами, в  
костровом дыме, русалок, о чем и говорил. У одно-  
го из костров остановились охладить маглину и по-  
есть.

*И слушали историю царя Ивана.*

Во Владимир дорогою русалок, кандальников и  
Цудортранса все же приехали к часу ночи и без по-

ломок. Остановились в гостинице столетних времен, на дворе которой обязательно останавливался тарантас писателя Соллогуба, во времена Гоголя, а в ресторане которого, если бы долго жил во Владимире, обязательно спился бы писатель Герцен. Автомобиль оставили на улице, на перекрестке, неподалеку от поста милиционера, рассчитывая, что здесь ему будет покойнее, чем на дворе, где станвал соллогубовский тарантас. С монахом была тетрадь, в которой церковно-славянской вязью он изложил справки о владими́ро-суздальской стороне.

За дорогу до Владимира выяснилось, что пахнет от монаха луком и олифой так невозможно, что Яков Андреевич, пропахший бензином и тавотом, всерьез задумывался, не заночевать ли ему в машине. Ели на сон грядущий, и монах по рассеянности съел весь хлеб, рассчитанный до Иванова.

Утром осматривали старину. Владимирские памяти связаны с Андреем Боголюбским и с сыном его Всеволодом, с двенадцатым веком. От тех времен остались крепостные ворота, называемые Золотыми, и два собора. От Золотых ворот идут рвы, около коих с точностью, точно это было на той неделе, показывают, где татары ворвались во Владимир без малого семь веков тому назад. Коммунальное хозяйство владимирского рика повесило ныне на Золотые ворота коммунальные часы с электрическим заводом. Церкви двенадцатого века — одна из них, за последние лет двадцать пять растрескалась — разваливаются и развалятся, если не наедут реставраторы-архитекторы и не закрепят трещин. Во владими́ро-суздальской церковной архитектуре все церковные колонны и своды обязательно покоятся

на львах. Откуда в двенадцатом веке на Клязьме и на Нерле эти львы? — Есть летописные справки, что Андрей Боголюбский был в родстве с Фридрихом Барбароссой, и есть предположение, что соборы строились ломбардскими архитекторами, и они-де и завезли львов. Но у шведов, норвежцев, датчан, финнов львы — национальный герб, — и не оттуда ли львы у подножий колонн владимирских соборов? — государственный герб Андрея Боголюбского — каков? В Успенском владимирском соборе, в том самом, который осаждался татарами и был последней цитаделью владимирцев, — в этом соборе хранились мощи Андрея Боголюбского и хранятся фрески Андрея Рублева, равно как расчищены фрески от двенадцатого века, сделанные греками. Летопись передавала о Боголюбском, что в гордости своей и в величии он никогда не склонял головы, что во внимательности своей он никогда, даже во сне, не закрывал окончательно глаз, что погиб он, изрубленный боярином Кучкой с сыновьями, причем бояре в ненависти своей рубили Боголюбского даже тогда, когда он умер. Мощи Андрея Боголюбского вскрыты, перенесены из собора в музей. Мощей никаких не оказалось, были лишь кости, но кости подтвердили летописные записи. На многих костях, на костях рук и ног, на ребрах, на черепе остались следы многих ударов меча. Гистологи Академии наук обследовали эти кости. Удары наносились долго, часами спустя после того, как человек умер от первых ударов. Гистологи ж установили, что шейные позвонки Андрея Боголюбского были сращены базедовой болезнью, — не по гордости и не по внимательности не склонял головы и не закрывал глаз Андрей Боголюбский, но по болезни,

Росту ж был князь Андрей невероятного — на полголовы выше царя Петра. Сергей Иванович брал в руки череп и кости князя феодала. Никакого священного трепета не было, — восемь веков тому назад человек, обладавший этими костями, был страшен. Павел Павлович Калашников стоял у костей безмолвно, по-монашески. Яков Андреевич подержал в руках череп, взвешивая его, положил на месте и молвил, обращаясь к Арбекову.

— А как вы думаете, Сергей Иваныч, мы бы с одним нашим автомобилем — завоевали бы все Боголюбское царство? — я бы взялся бы. Я бы вроде бога на них наскочил бы. Они бы от одного моего боша разбежались бы... Только вот, когда мы спали бы, может они нас подкараулили бы? — или если бы бензин кончился?..

На перекрестке около гостиницы милиционер покинул свой пост, переселившись к автомобилю, просил около автомобиля мальчишек не задерживаться, а взрослым читал лекции о советском автостроении. День был совершенно замечательный — в солнце, в ветре, в синем небе и в воздухе, в просторе. Соловьи, не заметив утра, пели посередине города Владимира, в росе в утренней синей ясности. Утром оказалось, что город Владимир никак не сдан в заштат, но отдан молодежи, учащимся, девушкам и юношам, учебникам в ремешках подмышкой, буйному цветению сирени и вишни.

Из Владимира выехали в час дня, двинувшись в Боголюбов и к Покрову на Нерле. В Боголюбове сохранилась часть палат Боголюбского, те, по совершенно неверному монастырскому толкованию, где был убит и возведен во святые князь Андрей. В Боголюбове проживает ныне и хранит музейные

ключи Федор Павлович Круглов, человек, подобно Боголюбскому, не сгибающий шеи,— по иным, чем Боголюбский, причинам: партизан, красноармеец, участник Перекопа, он был захвачен белыми; на теле его до сих пор видна пятиугольная звезда, вырезанная на коже при пытке; белые его расстреляли, он был похоронен в братской могиле, он вылез из-под земли от трупов, вернулся к нам, дрался под Перекопом, шейные мускулы его исковерканы, он не сгибает шеи,— он хранит палаты и память Андрея Боголюбского. Сергей Иванович застал его на табурете, поставленном на стол, под самым потолком, он белил свою квартиру, расположенную в митрополичьих покоях.

Покров на Нерле есть предельный символ запустения. Церковь, поставленная на месте слияния Нерли и Клязьмы, среди заливных лугов, кругом на несколько километров отстранена от человеческого жилья. И около церкви нет ни души. Церковь заброшена всячески. В непогожую ночь, должно быть, не очень счастливым людям, должно быть, понадобилось заночевать в этой церкви,— двери у церкви были железными, византийского железа от двенадцатого века, но косяки были деревянными,— и несчастливые люди сожгли один из косяков, чтобы пройти в церковь. У Покрова на Нерле так заброшено все, что даже вороны и галки, птицы разрушения, покинули ветлы, обступившие церковь. Белая церковь. Солнце, зелень ветел, ветер. Даже птицы улетели отсюда. Пустыня. Яков Андреевич не ходил осматривать старину, он поставил автомобиль между двух бугорков и подлез под него — и от солнца, и для того, чтоб промазать рессоры, и

не спеша обследовать цапы. Старина Якову Андреевичу надоела.

Направились в Суздаль. Дороги Ивановской промышленной области оказались лучше Володимирки. Суздаль привел в угнетение Якова Андреевича, этот город, где церквей оказалось больше, чем жилых домов, город русских — не императоров, но — царей, город царского гнева и царской милости, монастырей и ссылки цариц да распопых попов. На самом деле, много церквей. На самом деле, много совершенно замечательных памятников церковной старины четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого веков. На самом деле, можно написать повесть о судьбе женщины в средневековье и о первой жене Петра Первого, сосланной в суздальский женский монастырь. На самом деле, пребывание в этих веках утомительно. На самом деле, все эти века в разрушении. И следует умилиться вместе с Яковом Андреевичем. Якова Андреевича угнетало не величье веков, но — разрушение. Яков Андреевич органически не любил и не переносил — испорченного, сломанного, недоделанного. Недоделанной он воспринимал и старину. Единственный памятник старины, который не разрушен и в полном порядке высится средневековым величием, выкрашенный в розовую краску, суровый и неприступный, — это суздальский изолятор, до революции бывший монастырем — тюрьмой для распопых попов. И Яков Андреевич умилился деятельности НКВД.

— Ну, смотрите, Сергей Иванович, — прямо молодцы! — за что ни берутся, все делают отлично!.. взялись за монастырь, и он в полном порядке!.. ну,

прямо молодцы! — это вам не историки!.. есть на что полюбоваться!..

Павел Павлович Калашников, иконо-реставратор. Развалины суздальских монастырей, собрание икон в суздальском музее, корсунские ворота в суздальском соборе — так подействовали на Павла Павловича, что он переменял свой маршрут, решив остаться в Суздале. Он хотел подышать воздухом семнадцатого века. Он намеревался посмотреть на те же пейзажи и из тех же окон, которые видела и откуда смотрела первая жена Петра Первого. Здоровый парень, он засветился от суздальской старины, как нестеровская свечка. На самом деле, от него пахло олифой и луком. То, что хотел Арбеков, было сделано, — он знал, что Калашников и в бога верует, и современность воспринимает как «божий дар», и убежден, что семнадцатый век был — куда лучше теперешнего времени, производя все и строя во имя единого и одновременно трехличного господа-бога саваофа, он же адонаи. В 1935-м, в громадной воле и разумности революции, этот Павел Павлович казался бессмыслицей, но он был — фактом. А раз существует этот фактический человек с блаженными глазами, нелюбитель мыться, поехавший путешествовать из Москвы без полотенца, в Москве же получивший почти высшее образование для того, чтобы научиться писать церковно-славянской вязью и без малого церковно-славянски разговаривать, то, стало быть, где-то в Москве, в московских переулочках хранится социальная среда и сопрягаются социальные силы, которые пятят людей вспять к семнадцатому. Павел Павлович Калашников смущенно сообщил, что влюбился в Суздаль, смущенно рассказал, что из Москвы с собою он взял толь-



ко восемнадцать рублей, смущенно попросил взаймы рублей двадцать, поблагодарил монашеским поклоном и направился в музей устраиваться с ночлегом. По дороге от Москвы к Ногинску, где дорога гудронирована, а стало быть, Яков Андреевич чувствовал себя отлично, между Яковом Андреевичем и Павлом Павловичем произошел разговор.

— Теперь надо хороших девушек встретить, — сказал благодушно Яков Андреевич, — и посадить их в машину, чтобы целоваться.

— Это как же — целоваться? — спросил Павел Павлович.

— А очень просто. Остановить машину, поклониться, сказать прилично: — «здравствуйте, барышни, может, нам по дороге? — садитесь, целоваться будем, чтобы не скучать!»

— И садятся? — спросил Павел Павлович.

— Если сказать дружелюбным голосом, весело и без хамства, а главное, если их несколько, две или три, обязательно сядут.

— И — будут целоваться?

— А почему нет? — каждому человеку целоваться приятно, и им тоже. Это — как пошутить, как насмешить. Только — без хамства. Обязательно целоваться надо! — всем приятно, безобидно и весело. И ничего плохого нет.

Павел Павлович помолчал и молвил тихо:

— А я... у меня любимая девушка была, и даже ее поцеловать не мог...

В Суздале, как только Калашников отошел от автомобиля, направляясь в музей на ночлег, Яков Андреевич строго поправил краги автомобильных перчаток, с удовольствием положил руки на рулевую баранку, дал газу, молвил с хитрецей;

— Вы ведь тоже рады, что от монаха отделались?!.— вредный груз!.. Вы знаете, Сергей Иванович, я газет не читаю, мне некогда; стало быть, государственный деятель я плохой, я автомобильный деятель. Но есть у меня кое-какие политические правила, которыми я пользуюсь в моей работе. Например — ГПУ. Я, например, считаю, что ГПУ существует мне на пользу, чтобы мне удобнее жить. Если мне надо узнать человека, я начинаю безразличный разговор, так, мол, и так, было ГПУ, а теперь уничтожено; теперь НКВД, а раньше было ВЧК. Если человек боится ГПУ,— значит — человек липовый. Я примечал: кто боится, тот садится.

День отодвигался на запад. Яков Андреевич давал и давал газу. Дорога была хороша. Автомобилисты знают, что автомобильный мотор лучше всего работает в закатный час.

Синицын, Яков Андреевич. Когда Яков Андреевич входит в комнату, где стоят часы восемнадцатого века, переставшие ходить лет сто тому назад,— часы начинают ходить от страха перед Яковом Андреевичем. Яков Андреевич сам себе сделал патефон и автомобиль. За гонимые его таланты Московским автоклубом был подарен ему мотоцикл, хендерсон; мотоцикл, как известно, в коробке скоростей не имеет шестеренки обратного хода; Яков Андреевич приделал эту шестеренку и поражал московских автомобилистов, с полного хода вертясь около автоклуба на мотоцикле задом наперед. Часы, радиоприемники, керосинки и примуса — на самом деле боялись Якова Андреевича. На мотоцикле Яков Андреевич разъезжал по московским театрам, заезжал даже в Большой и, ни дня не учившись мастерству играть на фортепьянных инструментах,

настраивал рояли и пианино. Первый танк, взятый нами у белых, привезен был в Москву разбитым; в Москве не было ни одного инженера, который знал бы конструкцию танка; Яков Андреевич на несколько дней залез в танковые железа, почти не вылезал оттуда, напевал там «Варшавянку» и — поехал на танке с вокзала в Кремль, повез танк в подарок Владимиру Ильичу; Владимир Ильич жал руку Якова Андреевича и поздравлял в его лице русских механиков. Арбеков в тридцать первом году привез из Америки автомобиль и обучен был управлять машиной по-американски, то есть не имел никакого представления ни о двигателе, ни о диффере. Вернувшись в Москву автомобилистом, Сергей Иванович связался с автомобильно-клубными любителями и автодорожцами, с одной стороны, а с другой — с арапами, от коих очень быстро пострадал так, что машина перестала ходить. В автодорожско-автомобильно-клубных кругах тогда он встретился с уважаемейшей среди автомобилистов личностью — с Яковом Андреевичем Синицыным. Они оказались соседями. Синицын ездил на самодельном автомобиле под кличкой «Дракон», у него не было гаража, а у Арбекова был двор, где можно было поставить гараж на две машины. Машина Синицына стала ночевать у Арбекова, Синицын профилактировал арбековскую машину. Со временем, когда возникла твердая дружба, а это совпало со временем, когда Арбеков и Синицын занимались бракоразводом, «Дракон» законсервировался. Сергей Иванович ездил на своей машине и ломал ее, Яков Андреевич ездил на машине Сергея Ивановича и чинил ее. Синицын — друзьям Арбекова — рекомендовался так: «Яков Андреевич, шофер-энтузиаст!» — так и было на самом деле.

Яков Андреевич знал всю историю автомобильного дела с тех пор, когда оно было только спортом. Когда у Сергея Ивановича собирались друзья и начинались разговоры о делах страны, об успехах коллективизации, о Юнайтед-Стейтс и о Японии, Яков Андреевич, всегда шептал Арбекову: «Не весело что-то, Сергей Иванович, я пойду к машинам!» — и уходил в гараж. Но когда они оставались вдвоем, Яков Андреевич часами говорил об автомобильных марках и втулках, о гонках и авариях. Он знал все машины в Москве, как хороших знакомых. Он не знал наркома Гринько и американского посла Буллита, но знал их машины. Яков Андреевич был повелителем — автомобилей, роялей, часов, радиоприемников, которые его боялись. Но сам Яков Андреевич боялся — бумаги, того самого, с чем больше всего имел дело Сергей Иванович. Если дело касалось бумаги, Яков Андреевич обязательно путал. И это, в частности, — было залогом дружбы, на самом деле настоящей. Яков Андреевич работал начальником гаража, был ударником, в честь чего носил с собою перезамазанную машинным маслом вырезку с фотографией из «Правды», — командовал полутора сотнями зисов, грифов и ярославок. Арбеков писал. Досуги они проводили вместе. Они ездили по стране — до Ленинграда, Харькова, Смоленска, Горького. Они были на родине Якова Андреевича — в Западной области. До сих пор там висит вывеска, на которой нарисован самовар и написано «Лужу Пояю», оставшаяся от отца, участника революции Пятого года и с тех пор большевика, похороненного на кладбище коммунаров, — причем сын, Яков Андреевич, на вопрос: «как же это вы — отец коммунист, а вы беспартийный?» — от-

вечал: «а я знаете, товарищам доверяю, пусть они работают по политике, а свое на автотранспорте отработают!» Яков Андреевич был доверчивым и ласковым человеком, настоящий пролетарий, рабочий, сын подпольщика-пролетария.

Со временем, когда Сеницын разводился со своей женой, на кольце, где висели автомобильные ключи Якова Андреевича, повис ключ от квартиры Арбекова,— Яков Андреевич у Сергея Ивановича стал членом семьи. На собственной своей квартире Яков Андреевич бывал редко, на стенах там висели грамоты и аттестаты за множество призовых пробегов, учиненных Яковым Андреевичем.

День отодвигался на запад. Яков Андреевич давал и давал газу. Мотор лучше всего работает в закатные часы. Впереди лежал замечательный русский город ткачей, возникший в лесах и на болотах из феодальных селений, раньше тысяч и тысяч российских городов перешедший от крепостной мануфактуры в капитализм и раньше тысячи и тысячи российских селений ставший социалистическим городом. Направо и налево от шоссе лежали глушайшие, почти первобытные леса, сосна и ель, никак не предвещавшие, что за небольшими десятками километров лежит громадный город советского текстиля, фабрик и двух сотен тысяч пролетариев. В лесу по дороге повстречались две девушки с сундучками, с котомками, босоногие. Не Яков Андреевич предложил, но они попросили — посадить. Остановили машину. На редкость сизоскулы и здоровы были девушки. Выяснилось,— фабзавучницы, ходили домой, рассчитывали утром попасть на автобус и не попали, тридцать километров прошли уже пешком, осталось еще тридцать, устали, а завтра в восемь

надо быть на работе. Яков Андреевич сказал озабоченно:

— Если бы не сундучки... сундучками вы обивку поцарапаете — видите, сколько у нас своих вещей?.. — и добавил сурово-весело, — однако, ладно, возьмем, — оплата натурой, за каждый километр поцелую.

— Ты не шути, — сказала старшая, — мы тридцать километров пешком прошли с вещами, поди устали, — и хозяйственно стала укладывать сундучки.

Машина действительно была загружена. Уселись. За руль сел Сергей Иванович, рядом девушка, рядом Яков Андреевич, вторая девушка — на коленях у Якова Андреевича. Яков Андреевич убеждал девушку на коленях, чтобы она его сердечно поцеловала. Навстречу прошли сразу три грузовика. Соседка сказала Сергею Ивановичу:

— Целый день шли, ни одного автобуса не повстречали, а тут сразу три автобуса.

Сергей Иванович спросил:

— А моя машина, вот эта, на которой ты едешь, — как называется?

— Известно как, — достойно ответила девушка, — такса! — И добавила очень ласково, доверчиво и с достоинством скромности: — Я хоть и из деревни, а кое-чему научилась.

Девушки попросили остановить машину в пригороде. Синицын требовал натуру поцелуями. Старшая, которая сидела рядом с Арбековым, сказала:

— Не шути, парень, не срамись!.. — Наши губы не деньги! — и обратилась к Арбекову, — может, ты чего на нас потратил, ты скажи, мы заплатим, что требуется.

— Нет, платить не надо,— ответил Сергей Иванович,— а если поцелуешь, нос утрем моему товарищу, он всю дорогу твою подружку просил, а поцеловали меня.

— А что ж, и поцелую. Какая тебе, старику, в этом сладость?

— Да ты уж поцелуй, и подружке твоей вели поцеловать меня.

— А что ж, и поцелуем. Нюра, давай его поцелуем!

— А вы и товарища моего поцелуйте, он человек хороший.

— Не станем, чтобы другой раз не напрашивался. А то всю дорогу — натура да натура,— вертоус какой выискался!.. Ты старик, ай только старообразный?

Девушки поцеловали того и другого по разу, в щеки (в губы отказались), позволили себя поцеловать по разу, в щеки (в губы не позволили), пожали руки, посмеялись. Когда машина двинулась, одна из девушек крикнула под хохот второй:

— Ребята, будете когда мимо проезжать, приезжайте чай пить! — во втором общежитии фабзавуча, Нюра да Катя!..

Впереди лежал замечательный город ткачей, русского текстиля, русских пролетариев.

## ИСТОРИЯ О ЦАРЕ ИВАНЕ, ИЗБРАННОМ К ВЛАСТИ В 1919 ГОДУ

Нынешняя Ивановская промышленная область охватила земли от Владимира и Киржача до Углича и Пош-Володарска, и Ярославль, и Кострому — до Чухломы и Солигалича — до Макарьева и Семе-

новского. Для каждого русского, кто помнит свою страну, каждый названный пункт человеческой оседлости — глава и дел российских, и истории. Посредине области протекает Волга. На экономических картах края густо покрашены районы фабрично-заводской промышленности, машиностроительной и химической, хлопчатобумажной, льнообрабатывающей, силикатной, торфяной, пищевой, крахмально-паточной, винокуренной. На картах указаны районы нового промышленного строительства и районы сплошной электрификации. По всей области густо указаны районы кустарнопромыслового кооперирования населения, обеспечения рабочим скотом, молочного животноводства, овцеводства, плотности населения, ветеринарного и медицинского обслуживания, телефонной связи районов. На всех этих картах пустынею обозначены районы Семеновский, Макарьевский, Палкинский, кроме одной карты — карты лесистости. Самый лесистый район — Семеновский. Там протекает река Ветлуга, — бывшие Ветлужские веси, ныне уничтоженные с российских карт, — места, описанные Мельниковым-Печерским. Леса там первобытны и непроходимы. Леса и села там редки, и не будет большой исторической натяжки, если принято будет утверждение, что оседлости этих мест возникли по тем же социальным причинам, что и Дон, и Запорожье. Но на Дону и в Запорожье были степи кочевников, простор и крымские татары, а здесь обступали леса, именно те, которые и прятали в себе людей от государства, кругом окружавшего эти леса. В лесах надо было оседать и прятаться — и надо было работать, чтобы есть и кормить детей. В леса бежали от феодала и за феодальной справедливостью, но в лесах же прятались от Алексан-



дра Второго, российского капиталиста. Ведь даже в 1934 году найдено было в этих местах село, ни на какие карты не нанесенное, пребывавшее в нетях и в лесных трущобах, беспаспортное, но выходявшее в соседние поселки за покупками и на продажу своих изделий!.. В четырнадцатом году началась мировая война. В Семнадцатом пала императорская власть. По понятиям тех, о ком идет речь, распалась власть. Села прятались в леса, разыскивать села — досуга не было, власть распалась, как гамлетовская связь времен. Можно было и надо было создавать свою власть, чтобы восстановить связь понятий. И в Шуйском починке крестьяне выбрали на власть и на царство крестьянина Ивана, справедливого и красивого человека. Ивану было лет сорок, был он многосемен и безграмотен. Он взялся за царствование, благословясь и по справедливости, устроил в своей избе трон, судил с трона в красной рубахе с белыми латками подмышками и в лаптях; в свободное время от царствования ложкарил и пахал; именовался — бедный царь; детям своим он настрого приказал, как раньше, лётать босиком. Старообрядец и крестьянин, он вызвал к себе православное духовенство со всего своего царства, волостного писаря, лесопромышленников, лесничего, стражников, учителей, врача и предложил им сматываться из царства во един дух. В больнице поселилась бабка-ведунья да дед-знахарь. В школы направились начетчики. Подати были отменены. Все были сравнены в труде и в куске хлеба. Православные батюшки, лесничий, врач и волостной писарь, выбравшись из царства во един дух, срочно направились в тогдашнюю губернию, в Вологду, — они и привели в недоумение вологодские советские власти

сообщением о возникновении в лесах нового царства. Вологодцы помчались в леса узнавать, как и что. Приехали в царство. Леса непроходимые. Деревня окружена заборами — чтобы скотина не ушла в лес, чтоб медведь стеснялся в деревню залезать. У околицы вологодчане встретили человека с возом, в лаптях, в красной рубашке, с бородищей, как лес, и с добрейшими голубыми глазами.

— У вас, тут, говорят, царь имеется? — спросил главный вологодчанин.

— Имеется, — ответил мужик.

— Какой же это царь? — спросил вологодчанин.

— Народный царь, выборный, чтобы по совести и справедливости.

— А где ж этот царь?

— А я и есть этот царь, — ответил мужик, — меня мир выбрал для власти.

В Вологде судили. И оправдали царя Ивана, только просили для прилику не возвращаться в волость, уехать из волости, куда хочет. Царь Иван пожелал со всем семейством переселиться в город Астрахань, на рыбные промысла. Бедняк Иван, красивейший бородатый экземпляр русской народности, бедняком оставался и на престоле. Хоть и дремучим, как леса, сопрягавшим старообрядческого бога со знахарями и ведьмами, он оказался Иваном, мужиком хорошим.

История о царе Иване рассказана была на Володимирском шоссе между Покровом и Владимиром, ночью, около костра, когда Сергей Иванович, Яков Андреевич и Павел Павлович останавливались охладить от канав мотор и поужинать. Костер отгонял комаров, подбирались к костру туманы, пели в туманах соловьи, а пахли туманы ландышами. Рассказа-

зал о царе Иване дорожный рабочий, к слову. Рабочие устраивались было ко сну. Яков Андреевич поминал недобрым словом ухабы всесоюзного, дорожного мастера Цудортранса, за отсутствием его собирался было обидеться на дорожных рабочих, угостил рабочих папиросками. И возник разговор о советской власти. И — к слову, для подтверждения крепости советской власти — дорожный рабочий, покуривая и поплеывая, рассказал о царе Иване. Одет был дорожный рабочий, примерно, так же, как одевался царь Иван, был лишь потощее царя, менее представительен и красив, и менее бородат.

— Советская власть в самом народе живет, скажу я тебе, браток, — царь Иван не знал, как ее назвать, а на поверку — был он что ни на есть председателем комбеда, а то, глядь, и колхоза. Мы из одного места с ним, мечтал он о коммуне, сделанной на правильном труде, а ежели прошибся, то только со знахарями да с царскими кличками — по лесной своей неграмотности.

Соловьи пахли ландышами.

Автомобиль вошел уже в быт русских весей. Для того, чтобы хорошо вести автомобиль, чтобы быть хорошим шофером, надо вести машину, не думая о том, что ты ее ведешь. Так — около каждой машины. Машину надо чувствовать, как часть своего тела, как часть самого себя. Уменье владеть машиной, — это чувство, которого не было в России поколение тому назад. Человек, ведущий машину, настоящий шофер, не думает о машине, но ни на одну секунду не забывает о ней. Он чувствует каждую гайку, каждый вздох зажигания. Куда б ни опускал

он свои взоры и мысли, он видит каждый камень, каждый ухаб на дороге — и видит их ритмом машины. Это будет — точно сказать, что от рулевой баранки шофер видит все совершенно иначе, ритм автомобиля интегрирует расстояние и пейзажи. И у руля очень хорошо думать, размышлять, интегрировать мысли — за интегралами скорости, ритма движения и пейзажа. Через поколение самые откровенные, самые раздумчивые разговоры будут возникать в часы переездов на автомобиле, когда двое, едущие на автомобиле, одинаково будут владеть ощущением машины.

По дороге от Москвы до Палеха, в часы, когда он вел машину, Сергей Иванович думал — как это сказать?.. — об образе? об искусстве? — он опускал свои мысли в ощущения, где не находилось нужной терминологии, о чем нельзя говорить, ибо понятие — образ — очень не точно. Можно было думать о шахматах и автомобиле. Со дней возникновения шахмат, как мастерства, всегда было великое множество шахматистов, имена которых забыты, которые хотели создать правила беспроектной игры, которые хотели создать машину-шахматы. Эти изобретатели забыты, но Капабланка, Ласкер, Алехин — великие писатели от шахмат — и даже Ильин-Женевский ошибались, конечно, проигрывали и — когда теоретизировали — говорили, надо полагать, множество неправильностей. Если бы машина-шахматы была бы изобретена, шахматы-искусство исчезли бы. В автомобильном двигателе лежит гений математического интегрального исчисления, — рядовой шофер не обязан знать высшую математику. В искусстве нельзя предлагать машин-шахмат, ибо не стоит убивать искусство. Искусство ж — изобретательство, поли-

тика, любовь,— все, что есть в жизни, может быть объектом искусства. И Капабланка, конечно, знает больше шахматных правил, чем молодой шахматист,— он должен знать все правила, созданные для него,— и для того, чтобы пользоваться ими при нужде, и для того, чтобы разрушать их, создавая свои правила,— этим самым делая Бальзака не похожим на Толстого. Знание и умение — не одно и то же. Сергей Иванович, перестав быть американским шофером, познал, как устроен автомобильный мотор, но сделать его не сумел бы. А американцы и мотора не знают, даже не видят его, мотор за них инспектируется дилерами. Американцы только водят машину — и водят куда лучше русских шоферов, ибо — поди, поезди по Америке, где на каждые четыре человеческие души по автомобилю. Умение ж достигается навыком, практикой; теоретически знать — это еще не уметь. Подлинное умение возникает тогда, когда оно координировано знанием. Знание не должно обгонять умение, иначе — критики!.. Каждый писатель каждодневно проходит мимо тысячи тем. Пишет каждый писатель на круг в год листов десять, сидя иной раз на одном и том же образе по несколько лет. В школах-десятилетках, в физических кабинетах показывают опыт: бросают на стол железные опилки и к ним подносят магнит. Железные опилки начинают двигаться, приходят в геометрический порядок, прилипать к магниту и друг к другу,— принимают закономерные формы. Железные опилки до того, как к ним придвинуть магнит,— это то, мимо чего ходит по миру художник, что видит, слышит, ощущает, продумывает,— тысячи вещей и обстоятельств, рухлядь на чердаке памяти. Возни-

кает образ — и образ работает, как магнит: из опилок виденного, слышанного, пережитого выбирается нужное, опилки приходят в движение, сортируются, прилипают друг к другу, принимают формы, нарастают на образ и сами на себя. Виденное, продуманное десять, и пять, и двадцать лет тому назад вновь возвращается в память и начинает жить, если это надо образу. Никак не ерунда, что один биологический тип склонен к писательству, другой будет инженером, а третий реальностью воспринимает звуки, — и никак не ерунда то обстоятельство, что зайца можно научить зажиганию спичек; но заяц от этого художником не станет. Образы же возникают в данной именно среде, в данной исторической эпохе, у данного человеческого индивида, являющегося достоянием и эпохи его, и среды, и класса. Когда магнит образа поднесен к опилкам фантазии и пережитого, начинает работать знание. Для того, чтоб образ отразился на бумаге, нужно умение. Новобранцу-красноармейцу, даже вузовцу, командуют иной раз — «левой!» — а он очень часто шагает правой, — это потому, что он задумался о собственных своих ногах. Это так же, как с шофером, который стал рассчитывать, а не ощущать расстояние, то есть не перевел сознание в ощущение — и въехал поэтому в канаву. Умение писателя должно быть таким же, как умение шофера или красноармейца, который, не задумываясь, шагает левой. Умение — слово. Слово — весомо и перспективно, комбинации слов тем паче. Комбинации слов определяют перспективу фразы и не только смысловую, но и эмоциональную ее загруженность. Сказать — «быстро пошел он» — «пошел он быстро» — «он быстро пошел» — это три различных по эмоцио-

нальному своему насыщению фразы. При чтении классического романа очень часто надо делать усилия, чтобы не подменять героя самим собою, хотя этот герой чужд читателю и исторически и классово. Это предопределено законами перспективы. В каждой повести есть та перспективная печка, от которой танцует автор, та точка, откуда, как на картину художника в два с половиною ее диаметра, следует смотреть читателю. Классические романы очень часто этой печкой для читателя брали глаза героя, — попробуй при таких обстоятельствах не подменить себя героем, раз его глазами только и видно, раз наблюдать с другого места — это все равно, что в театре сидеть спиною к сцене. Перспектива всегда графична, и каждая повесть должна иметь свой график — от фразы до абзаца, от главы до повести в целом, — и автор должен следить, как пройдет по повествованию читатель. Иногда читателю надлежит сидеть вместе с персонажем в комнате, иногда он должен из Москвы следить за Палехом, за Казахстаном, за Сясью и Мурманом, за Токио и Нью-Йорком. Если автору надо, чтобы читатель нервничал, он может отправить его на Кузнецкстрой в час пуска первой домны. Если автору надо успокоить читателя, он может отправить его в Сталинск часом спустя после пуска первой домны или может оставить его на покойном московском диване, а мотать персонажей, как кадры в кино... Но слова — и материальны. Если автор захочет описать красивую женщину, наделив ее фамилией Широконосова, — сколько ни старался б автор, читатель не поверит в ее красоту, фамилия погубит красавицу на бумаге. Если автор будет описывать лесной пейзаж нашими протокольными словами — «установка леса», «встречный план

перелеска», — то получится портной, который на ситцевом платье делал заплаты из сукна. Нельзя описывать феодала капиталистическим лексиконом, — феодал окажется наряженным во фрак и в кольчугу одновременно, причем кольчуга будет служить жилеткой. Не надо описывать телегу автомобильной терминологией, — телега старше автомобиля, у нее есть слова ее возраста. Читатель никак не обязан верить художнику. Автор должен убеждать читателя не уверениями, но свидетельскими показаниями. Рукопись. Молодой писатель. На первой странице рассказывается, как умна и необыкновенна героиня, — не кто-нибудь иной, а сам автор в восхищении и на первой странице, и на второй, и на четвертой: и умна, и красива, и необыкновенна. А на пятой странице появилась героиня, «от нее пахло душистым мылом», она села, «закинув ногу на ногу», и сказала, — «вопрос о том, чему должен человек больше отводить времени, физкультуре или духовному своему развитию, еще не решен для меня!» — и для читателя решен вопрос гораздо большей значимости — вопрос о том, что неумна не только героиня, но неумен и автор. Читатель просит авторских восхищений ему не навязывать!.. Форма — роман, поэма, рассказ, дактиль, ямб — условность, конечно, как условность и то, что женщины ходят в юбках, а мужчины в штанах. Сняли ж юбки наши московские метрополитенщицы!.. Форма романа — условность искусства, тут и «прости господи, глуповатость» и — клоунада. Актер, если он кричит петухом, приводит детишек в изумление, но если детишки устанавливают, что кричит петухом не актер, а самый настоящий петух у актера под столом, детишки актера презирают, ибо актер обманул искусство.



Писатель должен интегрировать реальность, настоящую жизнь, правду,— свои чувства автор должен аргументировать не словами, но фактами, выкрашенными под правду, чтобы читатель имел о них моральное и фактическое суждение. И писатель должен изловчиться в условности искусства так, чтобы читатель считал себя свободным в своих суждениях и не видел поучительного авторского перста. Авторские персты читателю надоели от классиков. Чтобы убрать свой перст, автор должен иной раз перед глазами читателя вычерчивать обстоятельства до самой последней морщинки,— а иногда надо предоставлять читателю свободу так, как это сделал в дореволюционные времена Леонид Андреев в компании Куприна, Потапенки и нескольких других их современников. Собравшись, эти поименованные пили красное вино и судили об искусстве, о том, как лучше создать образ. Решили тут же описать Фрину, как она вошла в ареопаг и покорила своей красотой,— решили описать красоту Фрины. Разошлись и приступили к описанию женской красоты. Куприн написал Фрину точь-в-точь, как описана у него Суламифь,— и живот, как чаша, и перси, и глаза, и губы, и черные волосы. Потапенко написал пять страниц,— волосы оказались огненными, и опять же перси, ланиты, персты, очи. Андреев пил вино, пока писали. Дошла очередь до его чтения. Он взял потапонские пять страниц, красный карандаш, все зачеркнул и прочел: «В ареопаг вошла Фрина, и она была так ослепительно красива, что старцы поднялись поклониться ее красоте». И все. Победил Андреев, ибо одни читатели предпочитают Фрину блондинкой, а другие рыжей, но для существа повести эта читательская вольность несущественна. У

иных русских писателей годов восьмидесятых излюбленным приемом было заставлять героинь хворать чахоткой, поэтическая, дескать, болезнь, румянец, томность, ветер вечности,— а врачи читали эти абзацы о «поэтической» болезни и хохотали, ибо чахотка у этих восьмидесятников получалась, как у иных современников описание «грахьёв» и «князьёв». Безграмотность в описании князя так же безграмотна, как и описание туберкулеза...

Закат. Косые лучи солнца. Сердце мотора бьется хронометром и слито с мыслями. Автомобиль поднялся на гору. Нигде, нигде на земном шаре — ни в Европе, ни в Америке, ни в Азии — нет таких пейзажей, как среднерусский пейзаж с холма, зелень полей, пространства, речонка, деревня вдали, золотые косые лучи заката и тишина.

Условность классического романа культивировала описание природы по ряду причин — и в первую очередь никак не по причинам эстетическим. Классический русский роман — если не мистичен, то пантеистичен. В условности классического романа описания природы требовались для того, чтобы посадить роман «на землю», «связать с землей, с природой, с космосом», с «паном», чтобы роман, как жизнь, «из земли пришедши в землю отыдеши», — чтобы природа в романе «успокаивала» иль (метели и буревестники) заставляла бушевать. Тургеневские и толстовские описания природы — конечно, мистичны. Прекрасный писатель Михаил Шолохов написал прекрасный социальный, социалистический роман «Поднятая целина», — и читатель выкидывает все шолоховское описание природы, — они механически перенесены Шолоховым из классического русского

романа в социалистическую ткань шолоховского повествования.

Нет! образ не только весом, перспективен, материален, историчен,— он обязательно социален и классов. Можно взять Льва Толстого, «Войну и мир», положить слева от себя, под правый локоть положив белый лист бумаги, и — с первой страницы эт феодального рассуждения о международной политике и феодальной скупости Курагина — выписывать все инстинкты персонажей Толстого и все обстоятельства, стимулирующие эти инстинкты,— инстинкты, эмоции, чувствования — безразлично, как называть. С десятой страницы начнет возникать некая уже система, надо подставлять уже только палочки, возникает статистика. А к концу романа известны все инстинкты, которыми оперировали не только персонажи Толстого, но сам Толстой. Человеческие инстинкты, человеческие чувствования наслоились веками от прачеловека, от четвероруких, от времен животного состояния. Они же с тех пор и перестраивались. Социальные инстинкты от часа, когда человек взял в руки дубину, накапливаются до наших дней. Они прошли через средневековое сознание, через капиталистический «индивидуализм». Они скапливались и жили, умирали, вновь рождались, живут в нас. Иные каменновековые добрались до социалистических дней, до социалистического сознания и социалистических инстинктов. Но мы, социалисты, коммунисты,— очень молоды. И следовало бы взять многих и многих наших писателей, партийцев в том числе,— положить под левый локоть их романы, как «Войну и мир»... И если писатель хочет быть подлинно коммунистическим писателем, подлинно коммунистически чувствующим челове-

ком,— и только тогда имеющим силы создать подлинно коммунистический роман,— пусть писатель кроме сознания проверит свои инстинкты!..

Советская русская литература имеет уже свою историю, совершенно закономерную, и имеет пройденные уже пути. Советская литература отодвинула в должные перспективы частную человеческую судьбу. Понятно,— судьба классов была значимой судьбой Иванов и Иванов Ивановичей, отдельных личностей. Когда человек, класс, эпоха приходят на новые места, на новые квартиры, они хотят расставить по местам вещи и знать, чем они обладают,— литература была очерковой и познавательной. Класс стал перестраивать страну; колоссальнейшая, замечательнейшая эпоха, когда в стране не было ни единого села и ни единого города, которые не реконструировались бы и не строились заново. Реконструировалась добыча хлеба и труд около хлеба, когда на поля пошли машины и фабрично-заводские навыки. Реконструировались и строились заново заводы, нефть, железо, каменный уголь, химия, текстиль, превратившие аграрную страну в индустриальную. Уничтожался класс прежних историоделателей вместе с его экономической конструкцией, знанием, моралью, эстетикой. Это замечательнее любой романической выдумки. Первая полоса «Известий» была более романична, чем беллетристический подвал на третьей полосе. И романы эпохи брали первобытный берег реки, глухие леса с монахами иль степи с запорожскими преданиями. Туда приходили люди, и там строились заводы, причем вещи и отношение к вещам перестраивали людей в коммунистов. Романы брали «чавось-небосьную расейскую» деревню, строили там колхоз, туда приходил трактор,

И там создавались племенные фермы, причем трактор и отношение к нему перестраивали людей в коммунистов. Перестроение людей показывалось в классовой борьбе. Прежний историоделатель, уничтожаясь и умирая, пошел в поножовщину, на голод по деревням, в болты, подбрасываемые к новым машинам,—писатели написали о вредительстве. Так было на самом деле в жизни. Но условность классического романа была перенесена на наши дни. В романе был герой — коммунистическая партия. В романе был «злодей» — подгерой — прежний класс, вредитель. Конструкция была неверной по существу законов литературной перспективы. Герой персонифицировался на секретаре партийной организации, человек нес на плечах партию миллионов, растворяя партию в своих индивидуальных чертах, и терял свой лик в миллионах,—вредитель превращался в подгероя, что не соответствовало реальной жизни.

Это было закономерным для литературы,—но шофера становятся настоящими шоферами только с того момента, когда, наездив уже много часов, вдруг они ловят себя на мыслях, когда их мысли очень далеко и от дороги, по которой они идут, и от рулевой баранки, потому что вещь — машина, мотор, ритм мотора и движения — и он, шофер, — одно и то же. Тогда начинается жизнь.

(В Иванове Арбеков с Синуцыным, переночевав в небоскребе ивановской гостиницы, были на аэродроме, где ивановские предприятия встречали прилетавший из Москвы агитсамолет «Правда», а затем ездили с предоблисполкома Сергеем Петровичем Аггеевым на безымянное озеро. Об этом рассказано будет ниже.)

В Палех приехали к вечеру. Поездка на безымянное озеро, ночные разговоры, встреча жены с ребенком и няней на ивановском вокзале сделали так, что прошлую ночь Сергей Иванович и Яков Андреевич спали всего по два часа. В Палехе ожидали баня и крестьянский дом. В комнате стояли ландыши. С закатом запел соловей, у самого окна. Звуки перепутывались с запахом ландышей. Впервые в жизни сознание соподчинило ландыши и соловьев, весною, земною благостью. Переутомленные, они легли с закатом, когда проснулись соловьи. Мысль о соловьях и ландышах была последнею мыслью Сергея Ивановича. И ночью разбудил необыкновенный шум, тысячи неизвестных существ бежали по крыше. И сразу вспомнилось детство, вошло, наполнило все сознание. В Москве и в мире за большими городами, в многоэтажных домах, этот звук был забыт, звук, знакомый от детства. По железной крыше крестьянской избы бежали тысячи капель дождя. За окном зеленело лето. Комната осветилась фосфорическим светом, казалось, прошедшим сквозь стены. Весело над домом рассыпался гром. На крыше шумел дождь. Пел соловей. Ветер подул в окно. В комнате до одури пахло сырими ландышами, молодостью, свежестью, соловьями. Где это? — когда это?..

Саратов. Саратовская первая гимназия. Первый класс. В гимназии у всех гимназистов до четвертого класса — поветрие, увлечение игрою в перышки; карманы гимназистов набиты перьями; героем от перышек идет «наполеон», перо, которое нельзя перекувырнуть. Играют на переменах, играют на уроках. Классные надзиратели ловят. Классный надзиратель, по прозвищу Зонтик, отбирает перья, заставляет

выворачивать карманы. И Зонтик, чтобы пресечь зло, кидает перья, сотни перьев, на печку, надо полагать, к тысячам перьев, застрявших там от прежних гимназических поколений. Первоклассник Келлер, впоследствии Арбеков, уговаривается с первоклассником Шухотовичем. В первую перемену Шухотович жалуется на Келлера, что Келлер ударил Шухотовича, и надзиратель оставляет Келлера на час без обеда. Во вторую перемену Келлер жалуется на Шухотовича, что Шухотович ударил Келлера, и надзиратель оставляет Шухотовича на час без обеда. После занятий Келлер и Шухотович — вдвоем в классе. Кафедра — к печке. На кафедру — парта. На парту — Шухотович. На Шухотовича — Келлер. И Келлер на печи, в пыли, в бумажных стрелах, в россыпях перышек. И на пороге — Зонтик. Уже не сам, но руками двоих сторожей Келлер спускается с печки. Через четверть часа — инспекторский кабинет во флигеле, ожидание инспекторского выхода, плачущий Шухотович, и — гроза за окном, громы и молнии...

Весной тридцать пятого года во всем Союзе происходил первый выпуск десятых классов полной советской средней школы, — праздник девушек и юношей, родившихся и созданных советскими днями уже за Семнадцатым, праздник созидания и созревания человека... Нижний-Новгород, 1913 год, класс выпускников — «абитуриентов».

— Келлер, ты что делаешь!?

— Ничего, Леонид Александрович!

— То-то ничего, а надо слушать! — останься на полчаса без обеда.

Двадцать два года тому назад!.. — этот разговор происходил в нижегородском, владимирском, реаль-

ном училище. Повторялся этот разговор раза два в неделю, и было известно, и никого не удивляло, что Леонид Андреевич не любит «абитуриента» Келлера, и поэтому «ловит»,— было такое словцо. И Келлер оставался на полчаса «без обеда» — раза два в неделю. Келлер впоследствии стал писателем... Вместе с гимназистом Федором Богородским, впоследствии художник, с гимназистом Сергеем Предтеченским, беллетрист, с институтцем Арсением Митрофановым, поэт, и еще с десятком товарищей они организовали литературный кружок и издавали рукописный журнал. Предтеченский и Келлер печатали свои рассказы в «Нижегородском листке». Члены кружка читали московские газеты и толстые журналы. И реалист Келлер был вызван к инспектору Жудро в чрезвычайно темный кабинет, где стены наводили не меньший страх, чем сам жукообразный Жудро. Жудро сказал:

— Сергей Келлер, говорят, ты сочиняешь?

Владимирское реальное училище было третьим учебным заведением, где Арбеков проходил «средние» науки, ибо из саратовской гимназии он был изгнан за игру в перышки и за издевательство над системой наказания безобедами, а из богородского реального сам ушел по так называемому добру и здорову. То есть Келлер человеком был уже обстрелянным.

И он ответил инспектору Жудро, опустив руки по швам:

— Да, Владимир Александрович, сочиняю.

— А что ты сочиняешь?

— Я пишу маленькие рассказы, Владимир Александрович. Я впоследствии намереваюсь быть писателем.



— А еще я слышал, что ты носишь свои рассказы для печати в «Нижегородский листок» и будто бы ты читаешь разные газеты?

Арбеков соврал, с ясными глазами.

— Нет, Владимир Александрович.

— А еще мне сообщили классные надзиратели, что ты, Келлер, куришь?

Глаза Арбекова стали покорными, он ответил тихо и покаянно.

— Да, Владимир Александрович, несколько раз курил.

Жудро помолчал от неожиданности. Жудро оценил чистосердечное признание. Жудро молвил:

— Ну, и кури, если куришь, ты через год студент,— но если тебя застанут классные надзиратели или инспектор, получишь тройку за поведение. А если,— Жудро потемнел,— если опять услышу о твоих писаниях и о хождениях в «Листок»,— будешь уволен. Ремень поправь, как следует!..

Во владимирском реальном, как и во всех средних учебных заведениях империи, запрещалось выходить на улицу после восьми часов вечера. Ходить в кино и в театры ученики могли лишь по запискам инспекции. В день окончания реального абитуриенты вместе с преподавателями впервые в жизни напивались до потери сознания, и с учителями же, также впервые в жизни, ездили в публичный дом. На всю жизнь от владимирского реального остался в памяти — класс, парта, урок математики.

— Келлер, ты что делаешь?

— Ничего, Леонид Александрович.

— А надо слушать! останься на полчаса без обеда!..

И француз, швейцарец по национальности:

— Э, мой шэр, ви не знаете урок? — это будет достаточно, если я поставлю вам нуль с вожжами! — и француз жмурился в наслаждении и ласковости, тот самый швейцарский француз, о котором через год писалось в газетах, который бежал из России от уголовного преследования, ибо он оказался педерастом и растлителем учеников...

Какая эпоха прошла с тех пор!.. Империя расстреливала свой режим мировую войной. Октябрь выкорчевывал империю, отстреливаясь от четырнадцати государств, которые хотели его утопить в собственной его крови. Весной тридцать пятого года вышли из средней школы девушки и юноши, которые не были еще рождены в Семнадцатом, зачатые и рожденные в громах Октября. Арбеков в эти годы переходил от юности в зрелость. И на месте прежнего ученика Келлера стали двое новых Келлеров — ученики дочь и сын, проходившие пооктябрьскую школу. Тот, прежний ученик Келлер, был трудным ребенком, — не случайно он перебирался из Саратова в Богородск, из Богородска в Нижний, — и случайным в его судьбе было лишь то, что он окончил школу. Тогда нельзя было утверждать, что из Келлера выйдет писатель Арбеков, но мальчик с самых ранних лет готовил себя к писательству, — и именно это было наитягчайшим обстоятельством для тогдашней школы. Теперь росли сын и дочь, сын оказался труднее дочери. И, быть может, даже труднее отца, — хотя бы потому, что, в отличие от старшего Келлера, он не ставил перед собою никаких целей. Он не жил с отцом и на горе отца ухитрился к тринадцатилетнему возрасту возыметь отношение к книге по меньшей мере безразличное,

в окончательном совершенстве познав все виды спорта, а также все коломенские окрестности на много километров вокруг, кои он посещал в прогулы, первоначально мало познав все те науки, которые он проходил в коломенской десятилетке,— так мало, что, встречая у отца писателей, он обратился однажды к отцу с просьбой:

— Папа, а ты бы пригласил бы к нам когда-нибудь Пушкина чай пить!..

Отец взял сына с первоначальных коломенских вещей и пересадил в Москву, в 25-ю школу, где директорствовала женщина с фамилией, подходящей для сына,— Гроза, и где шефствовали «Известия», не в назидание, конечно, инспектору Жудро и его отношению к газетам вообще и к «Нижегородскому листку» в частности. Все годы социальных обвалов и восхождений отец не имел никакого отношения к школе. Глазами детей он вновь увидел школу. Дети вообще, повторяя жизнь, заставляют и молодеть, и видеть пройденное. Воспоминаниями, глазами дочери и сына отец сопоставлял две школы. Отец был вовлечен в общественную жизнь школы, что никак не полагалось по дореволюционным традициям, ибо инспектор Жудро допускал родительский дух в «храм науки» только тогда, когда из «храма» изгонялся дух здорового детства.

Как много, как замечательно все переменялось!— О чем думать? О том ли, что у школы есть своя собственная печатная газета, которая выходит в шестидневку раз и в которой преподаватели и ученики печатаются вместе, редакция которой заботится о том, чтобы ученики печатались?..— о чем думать? Да, ученики этой школы ведут переписку с двад-

цатью пятью народами — от американских школьников до школьников Арктики.

«Остров Колгуев, школа.

Здравствуйте! Все ненцы сейчас в артели. Вместе промышляют. Олени не вместе, олени вместе надо. Ненцы все в чумах живут, ямцают — кочуют. В красном чуме ненцы учатся, ненки, девочки, не учатся, станут учиться на будущий год. Агентство есть. Больница есть. Школе второй год, двадцать шесть учеников, две группы. Мы учили об артели Ленина, о Красной армии, о Парижской коммуне, о Первом мае. Мы учили, как живут рабочие, где есть буржуи. Стенная газета есть, радио есть, кино есть. В школе пионеры есть»...

Это часть письма, написанного колгуевскими учениками на немецком языке, учеником 25-й школы. Из Австралии, из Сиднея Аллан Шайн пишет о своем быте и о коммунистическом движении в Австралии, о том, в частности, что австралийские железные дороги по старым англо-американским традициям цензуры отказываются перевозить коммунистические газеты, а

«поэтому нам трудно получить их в Мельбурне... На прошлой неделе государственные власти конфисковали и уничтожили все экземпляры «Уоркерс Уикли»...

Пишут из Индии, из города Пуни. Трогомонская школа в Нью-Хэвеке из штата Нью-Йорк в Юнайтед Стэйтс пишет и шлет подарки «нашим друзьям

в СССР». Со станции Бер-Чакур из Казакстана пишут:

«Мы, ученики школы Бер-Чакур, шлем вам свой привет в далекую Москву»...

1913 год! — трехсотлетие и последний год империи!.. молодость Келлера, грозы, рассветы — и вообще молодость, которая все хочет знать, все понять, все вобрать в себя!.. На Ошарской улице в Нижнем жила француженка, с акцентом говорившая по-русски, — реалисты показывали на нее пальцем и примолкали, когда она проходила мимо, потому что они видели чужеземку, о которой ничего не знали, потому что за образом чужеземки рисовались далекие, непонятные земли, о которых ничего не зналось, о которых надо было мечтать, как о неких несбыточностях... Молодость, грозы, рассветы! — если бы ученику-отцу тогда можно было бы написать на Колгуев, в Мельбурн, в Нью-Хэвек, — быть может, вся жизнь его построилась иначе б?.. Кхайв, индус, пишет из города Пуни, от 15 января 1934 года, в частности:

«забастовка была проиграна, так как хозяин привел штрейкбрехеров. Штрейкбрехеры были мусульманами и ненавидели нас, буддийцев. У них в Бенгалии все помещики — буддисты, и они ненавидели нас как классовых врагов. А у нас, в Бомбейской провинции, все полицейские — мусульмане. Англичане, хозяева Индии, пользуются религиозной рознью и стремятся натравливать буддистов на мусульман. Однако за последнее время это им все меньше и меньше удается, мы братаемся с бенгальцами»...

Тогда, эпоху тому назад, представление у реалиста Келлера об Индии складывалось из романов Киплинга, английского консерватора, и из книг о йогах, реставрированных европейскими феодалами от мистицизма,— Индия казалась страной маугли и колдунов, умевших на расстоянии читать мысли, колоть себя иглами, не пить и не есть годами, умирать по собственной своей воле и оживать сколько угодно раз,— Индия была страной людей, никак не подобных европейцам. Если бы тогда прочитал Арбеков письмо индуса Кхайва из города Пуни!.. Действительно,

«все ненцы сейчас в артели. Вместе промышляют. Олени не вместе, олени вместе надо. Ненцы все в чумах живут, кочуют»...

разве каждая фраза, написанная ненецкими учениками, не живая жизнь, положенная перед тобою?— разве каждая фраза, положенная на географическую карту и социально-историческую полку живой жизни, не останется навсегда ощущением реальности в памяти Келлера-сына, получившего вместе с товарищами это письмо и ответившего на письмо товарищей с острова Колгуева? — и разве столь уж далекой будет казаться Москва для казахчат из Бер-Чакура, когда они получат сообщение о делах их московских товарищей-школьников? Но в 25-й школе, в школе второго Келлера, эта переписка — никак не случайность, не только даже познание жизни,— а система преподавания скучнейшего и бессмысленнейшего предмета всей «классической» императорской дореволюционной школы — система преподавания географии.

Жудро сказал:

— Ну, и кури, если куришь,— но, если тебя застанут, получишь тройку за поведение.

Леонид Александрович сказал:

— Келлер, ты что делаешь?! — останься на полчаса без обеда!

Арбеков-сын оказался нелегким ребенком. Жудро и Леонид Александрович были «созидателями» имперской «дисциплины». В 25-й школе были два ученика. Военная волна смертей и голода, бездомной вольности бездомных и безотцовых у многих наших детей мечту о побеге в Америку и в Индию заменила мечтой о беспризорничестве. И эти двое возлелеяли эти мечтанья, воровали, избивали ребят, командовали классом, собирали с класса дань трамвайными гривенниками, прогуливали уроки, когда чувствовали в этом нужду,— феодальствовали, как удельные князья. Когда это всплыло, вмешались родители и преподаватели. Родители предложили механическую меру старых традиций — изгнать вредителей. Групповод не согласился с этой мерой. После общего собрания класса, после наисердечнейшего разговора с вожатым пионеротряда «вредителям» было предложено, и они согласились, вести дневники своей дисциплины. Детишки должны были показывать каждодневно эти дневники родителям, руководу и вожатому. Мера подействовала, и очень быстро: писать и врать оказалось более трудным, чем врать и дебоширить,— писать надо старательно, и над писанием, в раздумьи, надо размышлять о самом себе... Одно из популярнейших мест в школе — доска около кабинета заведующего учебной частью. На этой доске великое множество красных и синих флажков, отмечающих дела и жизнь классов, успе-

ваемость, дисциплину, соревнование, положительные и отрицательные ученические единицы, школьные кружки, литературный, музыкальный, драматический, прочее, прочее... Француз-швейцарец и уголовный преступник во владимирском говорил:

— Вы плохо знаете урок, мой друг,— как вы думаете, какой балл я буду ставить вам? — вы не думаете, что это будет очень хорошо, если я поставлю вам ноль с вожжами, не так ли? — ну, так я поставлю вам этот балл!

И швейцарец был счастлив. 25-я школа имени «Известий» считает «основным моментом борьбы за успеваемость работу учителя над самим собою, над повышением своей квалификации, над освоением того материала, который дается учащимся». По понятиям 25-й школы и по традициям ее, в нулях виноваты не ученики, но педагоги,— и школа считает своею гордостью, когда ученики переходят из класса в класс со ста процентами успеваемости, отмечая их на доске красных и синих флагов,— причем кроме красных и синих по конституции школьников имеется еще и черный флаг, которого нет в действительности дел школы. Келлер-сын начал свою карьеру в 25-й школе тем, что в первую четверть принес отметки по всем предметам неудовлетворительные, чем был нормально доволен и по поводу чего беспокойства не проявлял, по коломенским традициям. В третью четверть у него оказалась только одна неудовлетворительная отметка и появились «хоры» и даже два «оха». И не это главное, а то, что он, кажется, на самом деле по поводу своих отметок и школьных дел проявлял здоровое волнение и на лето в лагеря набирал большое количество книг, в надежде их прочесть.



А дочь?.. На самом деле, критики правы, когда они по профессии своей бранчивы: о хорошем, разумном, простом трудно писать, нечего писать, писание получается скучным,— то ли дело пописать о «первозданностях», иль на глупости показать свой ум!.. В январе дочь пожелала, чтобы отец достал ей прошлогодний комплект «Известий» и категорически потребовала, чтобы он не трогал ее «Комсомолку». И в феврале, и в марте она отбирала от отца множество марксистски-теоретических книг. В апреле однажды, запоздно уже, она пришла торжествующей. Она сдавала в тот вечер в райкоме комсомола необыкновенный экзамен. Она переходила и перешла из кандидатов комсомола в члены. Ей заданы были только три вопроса — о продаже КВЖД, о приездах Идена и Лавалья и о причинах раскола РСДРП на большевиков и меньшевиков в 1903 году.

— Что предшествовало совещанию европейских министров в Стресе? — спросили старые комсомольцы.

— Соглашение между СССР и Францией о взаимной помощи в войне.

— Так,— сказали старые комсомольцы,— как же ты оцениваешь политику СССР в данном вопросе? Представь, что немцы нападут на Францию, не нападая на нас,— что ты, комсомолка, будешь делать в таком случае?

— Ленин учил империалистическую войну превратить в классовую, в гражданскую войну.

Дочь была торжественна в тот вечер. Она ушла к себе и долго не засыпала, обложив себя книгами, зубря к школьным экзаменам. И это было совершенно закономерно для молодости, которая никогда не останавливается, свалив одни дела, перед но-

выми делами, которая все хочет знать, все понять и все вобрать в себя. Запоздно отец зашел к дочери, чтобы переспросить, — итак, мол, отказавшись от концессий и неравных договоров нотою Карахана в двадцатом году, СССР не отказался от КВЖД? Почему? — Дочь сказала:

— Папка, уходи!

— Ты что пишешь? — спросил отец.

— Дневник. Уходи!..

Молодость!.. И тридцатого мая был праздник окончания десятилетки, праздник урожая новых людей, нового поколения, праздник созидания людей, ухода из детства в юность и в жизнь, в новое знание и в новую работу. Юноши и девушки пришли на праздник нарядные и торжественные, вместе с учителями и родителями, также нарядными и торжественными, — на этот праздник друзей и дружбы советских поколений. Ученики, учителя и родители ели пироги с мясом, с рисом, сладкие, пили чай — перед жизнью, когда пироги были общим караваем нашей советской судьбы. И тридцатого мая ввечеру над Москвою была проливная, громовая, веселая гроза.

— Да, новое поколение, для которого Октябрь, 1917 год — рубеж рождения, история, бытие, в котором оно, это новое поколение, не было.

В одиночестве и в ночи чаще всего люди думают не словами, но ощущениями. Так, ощущениями, Арбеков думал о своей молодости и о своих детях. Наверно, если б кто-нибудь окликнул его и спросил, о чем он думает, он не знал бы своих мыслей.

Опять над домом рассыпался гром. Пел соловей. Пахнули ландыши — молодостью, свежестью, соловьями.

На самом деле, за жизнью мы не замечаем, что все, все изменилось в нашей стране так же, как учебы,— моя и сына.

Светало. Совершенно багровым под грозowymi тучами был восток. На столе в полумраке стояли два кувшина с цветами калины и ландышей. Калина пахла тоньше, бессильнее ландышей. Калина-цветет гроздью цветов. На каждой грозди, по краям ее — заметные, красивые, белые, звездообразные цветы, а за ними в середине грозди — другие цветы, мелкие, незаметные, далеко вперед выкинувшие тычинки и пестик. Если принюхаться внимательно, то окажется, что звездообразные красавицы и незаметные носители тычинок различно пахнут,— запах тычинок едва уловим, и уловим только вблизи. Если присмотреться внимательно, то окажется, что заметные красавицы — бесплодны, только украшение, только приманка, в службе у тех незаметных и тихо пахнувших, которые понесут плод. Внимательнейше Сергей Иванович рассматривал цветы калины,— оказалось, что запах незаметных и благодней, и глубже, и благородней. Сергей Иванович слушал грозу. Соловей не слышал грозы, он пел, не замечая грома...

Калина принесет по осени горький плод. От тех лет, когда Арбеков кончил реальное училище, прошла громадная жизнь. В уездном детстве Арбеков помнил феодальную Россию, российских проселков и приставов, помещиков и крестьян, трехполя и триединого господа-бога. Университет совпадал с расцветом Морозовых, Рябушинских и Второвых. Уже за революцией, на земле от Токио до Лос-Анжелоса Арбеков видел, во что вылились бы российские Морозово-Второвы, если бы не было

Семнадцатого. Он знал свою страну. Он написал много книг. А за всем этим была жизнь существа, которая не подлежит оглашению,— детство, юность, мужество, впереди — старость. В этой же, не подлежащей оглашению жизни,— любовь и рождение детей. Должно быть, на самом деле в мужской природе есть два времени любовных посевов — весенний и передзакатный. Созрев к весеннему рождению, Арбеков народил старших — дочь и сына. Затем пошло большое десятилетие бездетной, а по существу и безлюбовной жизни, с женщиной, от которой не нужны были дети. И возникла женщина, которая через год после замужества родила сына,— любовный посев, такой полный, такой — нет других слов — величественный и всезаполняющий, какого не только никогда раньше не было в жизни, но который — непознанный — и не подозревался. Можно было пошутить, что из Москвы в Иваново Сергей Иванович выехал для того, чтобы встретить на ивановском вокзале жену. Он и встретил их с поездом, который приходит в шесть часов утра. Он нес сына на руках от вагона до машины, и он объезжал каждый ухаб, чтобы оберечь сына.

В избе до одури пахло ландышами. Пение соловья походило на ландышевый запах. Рядом с ландышами был кувшин с калиновыми цветами. Сын спал за стеной, в кроватке, которая была привезена из Москвы, привязанной к крыше автомобиля. Отец прошел к сыну. Сын спал, скинув одеяльце, разметавшись, раскинув ручонки, этот маленький кусочек человеческого и отцовского тела. Отец склонился над сыном, потрогал его головку, она была влажной от усердного сна. Сын тихо и ровно дышал. Гремел гром, и шумел дождик. И благодать мира, благодар-

ность миру и жизни, величие, простота, красота, сложность,—куда более величественные, красивые и свежие, благостные, чем соловьи, ландыши, калина и гроза,—наполнили сознание и ощущение отца. Это было ощущение — жизни, рождения, любви. Это было полно и полноценно, как жизнь. Это было ощущение ребенка. И ландыши, и соловей, и калина — все это было элементами в ощущении ребенка.

В ИВАНОВЕ АРБЕКОВ С СИНИЦЫНЫМ  
БЫЛИ НА АЭРОДРОМЕ,  
А ЗАТЕМ ЕЗДИЛИ С С. П. АГЕЕВЫМ  
НА БЕЗЫМЯННОЕ ОЗЕРО

Аэродром был полон людей. Сделав несколько кругов над городом, самолет сел. С самолета сошли двадцать семь человек участников полета. Происходил митинг. Самолет поднимал в воздух почетнейших ивановских рабочих. Сергей Иванович был на трибуне.

В Москве однажды этой весной, утром, в доме Сергея Ивановича было волнение. Раньше положенного срока сын просунул голову в комнату отца и прошептал:

— Папа, ты, может, уже не спишь? — все собрались. Ты позвони по телефону Роберту Петровичу или товарищу Дейчу.

— А ветер и облака? — спросил отец.

— Облаков нет, а ветерок небольшой, — ответил сын. — Ветерок, я думаю, обойдется.

— Сейчас позвоню, — сказал отец и позвонил на Тушинский аэродром начальнику аэроклуба Марку Семеновичу Дейчу. Товарищ Дейч сказал, что вет-

реновато, но лететь можно, — едва ли только удастся отправить в воздух сынишку, маловат еще в его тринадцать лет. В это утро арбековская молодежь с друзьями одаривалась отцом полетами в воздух. Отец в свою очередь испросил эту радость детям у Марка Семеновича Дейча и у Роберта Петровича Эйдемана. Отец сказал сыну, что ему, сыну и главному охотнику до полетов, едва ли удастся летать. Сын присмирел, потух, заверил, что он не так уж и хотел летать, с удовольствием посмотрит, как полетят другие, но по дороге взмолил отца:

— Папа, а может быть, мы заедем к Роберту Петровичу? — может, он позволит мне полетать, если Дейч не разрешает?

Дача Эйдемана была по дороге на Тушинский аэродром. Отец представлял, какие события творятся в мозгах сына, и согрешил — заехал к Эйдеману, чтобы ходатайствовать за сына. Роберт Петрович уклонился от вмешательства в распоряжение товарища Дейча, но убедил после полетов приехать к нему на дачу — делиться впечатлениями, завтракать и играть в волейбол. Летали на К-4. Все же, Марк Семенович сжалился над молодым Арбековым и сказал ему:

— Ну, малец, шмыгай в машину!..

Был солнечный день. Детишек по очереди поднимали в воздух и сажали на землю. Дейч и Арбеков сидели на подножке автомобиля, говорили о пустяках. В небе обыденно плавали аэропланы. Прошло звено тяжеловозов. Прошел АНТ-14 — «Правда». С Центрального аэродрома, из-за серебряноборского леса появился «Максим Горький», набирая высоту, развернулся над Тушином, над головами Дейча и Арбекова и пошел к Москве. Справа и слева рядом

с крыльями «Максима» шли два истребителя. Левый стал отделяться, правый пошел на петлю.

— Не нравится мне это фокусничество, ни к чему так близко петлять,— не спеша, разглядывая небо, сказал товарищ Дейч.

И вдруг правый истребитель, вышед из петли, поднявшись над «Максимом», ударил «Максима» в левое плечо. «Максим» вздрогнул и качнулся, точно хотел сбросить с себя истребитель. «Максим» накрепился на правое крыло. Ужас пришел не сразу. Было еще ощущение надежды, страстное желание надежды. Над «Максимом» поднялся черный клуб дыма. Все выпало из сознания — небо, другие аэропланы в небе, земля — был только «Максим» — ощущение, от которого надо было делать усилия, чтобы не упасть на землю и не засовывать в землю голову, чтобы не видеть, как это было, чтобы этого не было, чтобы остановить, предотвратить бессмысленность. Это было ощущением ужаса. «Максим» падал, «Максим» ломался в воздухе, разваливаясь на куски. «Максим» падал кусками на землю. Своя собственная жизнь превратилась в нуль. Радость за детей, которые только что прикасались к торжественнейшему, к величественнейшему, сделанному человечеством, к победе над воздухом, которые только что были в воздухе,— радость за детей превратилась в нуль. Бессмысленно гибли человеческий гений, человеческое умение, человеческая воля. На самом деле, свою жизнь можно было бы отдать не задумываясь, если б можно было предотвратить бессмыслицу. «Максим» упал за лес. Время падения выключалось из хода времени,— это могло быть вечностью, но это были секунды. Жесты товарища Дейча стали жестами механизма. Товарищ Дейч са-

дился в свой автомобиль. Лица детей казались чужими лицами. Дети лезли в машину.

Арбеков ощутил движение машины только тогда, когда машина сворачивала к даче Эйдемана. Тогда уже зналось: нет, нет, нет, человеческий гений не побежден, сегодня же, сейчас же надо закладывать нового «Максима», еще лучшего и еще большего,— но пилот, механики, люди?!.. бессмыслица, бессмыслица случайности! случайность! бессмыслица!.. люди, люди! милые товарищи!.. Эйдеман, один из командиров авиации, он мог не видеть гибели, он должен знать о ней,— он сейчас же должен действовать, сию же минуту!..

Эйдемана не было дома, он ушел на дачу к соседу. Арбеков кулаком застучал в дверь. Друзья сидели в столовой.

Должно быть, гибель «Максима» была перенесена на лицо Арбекова, потому что люди пошли к Арбекову раньше, чем осознали его слова. Арбеков крикнул:

— Роберт Петрович, сейчас упал «Максим», — пять минут тому назад. Едем! — и повторил, — сейчас упал, разбился, «Максим»!..

Ощущение ужаса с лица Арбекова перешло на лица людей. Эйдеман стал четок, как Дейч, как механизм. Оказалось, что у Эйдемана, нет машины. Арбеков высадил детей, взяв Эйдемана.

И началась гонка, машина бросилась на сосны, на проселок, на шоссе, не видя ни сосен, ни проселка, ни шоссе. По шоссе бежали люди. «Максим» упал, рассыпавшись на несколько кварталов. Механизмы «Максима», основная его часть упала на дом, развалив крышу и повиснув на доме, завалив его собою. Уже приехали пожарные и приходили красно-



армейские части. Над бессмыслицей возникала организованность. Пожарные выносили трупы из-под развалин стали и алюминия. Красноармейцы оцепливали место гибели. Красноармейцы строились рядами лицом к развалинам стали и алюминия. Им командовали от времени до времени: «Пять шагов назад!» — красноармейцы пятились, отодвигая стоявших за ними.

На Ивановском аэродроме собралось человек тысяч сто, праздничных, с оркестрами своих фабрик. В толпах было очень весело и дружелюбно. Говорились бодрые речи. «Правда», бывшая свидетельницей гибели «Максима», поднимала в небо почетнейших пролетариев. Арбеков думал о гибели «Максима». После митинга Арбеков с Аггеевым поехал к закату, к сумеркам на озеро, куда ивановские ответственные работники ездят удить рыбу, жечь костры, подслушивать природу, закаты и восходы. Озеро казалось заброшенным, светловодное, пустынное и тихое. К озеру надо ехать по гатям среди дремучего леса. На берегу озера стояли палатки, там жил дед, как это и подобает на берегу пустынного озера, татарин по национальности — по всем видимостям одинокий, как озеро в глухих соснах. У берега на озере лежали моторная лодка да две байдарки. Под соснами — кострище от старого костра. Иваново — город фабрик и пролетариев, один из индустриальнейших русских городов. Аггеев — председатель исполкома Ивановской области, Ивановского совета, который этой весной праздновал тридцатилетний юбилей. Иваново щетинится в небо фабричными трубами.

*(История Ивановского совета рабочих депутатов рассказывается ниже.)*

На берегу глухого озера Аггеев отдыхал. Дед был рожден, надо полагать, в лесах и во всяком случае был совершенно лесным жителем. Здесь в лесу, быть может, Аггееву хотелось быть таким же, как дед. Сергей Петрович, сняв пиджак и засучив рукава, сдвинул на воду байдарку, сел в нее, соби-  
рался посадить с собою племянника, неловко дви-  
нулся, байдарка качнулась, зачерпнула, ноги Сер-  
гея Петровича были еще в лодке, но сам он сидел  
уже в воде, — он прыгнул в воду и пошел к бере-  
гу, очень веселый. У деда нашлись ненадеванные  
ватные красноармейского покроя штаны. Сергей  
Петрович надел их и сухой пиджак. Над кост-  
ром повисли мокрые аггеевские вещи, белье, брюки,  
туфли. Босой, Сергей Петрович чувствовал себя не  
только подслушивателем природы, но и участником  
ее дел. Все сели к костру. Сергею Ивановичу тогда  
захотелось рассказать, и он рассказал — о гибели  
«Максима» и о том радостном чувстве, которое у  
него было днем, на аэродроме, когда он радовался  
за тех, кто садился в самолет, кто испытывал гор-  
дость, соприкасаясь с гением, пославшим в небо не  
только мысли, но и вещи. Сергей Иванович поймал  
себя на ощущении, что только сейчас, у озера, рас-  
сказывая о «Максиме» и «Правде», — только сейчас  
он порадовался за своих детей, в час гибели «Мак-  
сима» бывших над землей.

В июне — заря с зарею сходятся. На озере прохо-  
дила ночь. От озера поднимался туман. Под блед-  
ным небом вода в озере казалась столь же бездон-  
ной, как небо. Пролетела меж сосен сова. Сосны  
стояли неподвижно, отражаясь в воде. Противопо-  
ложный берег озера ушел в туман.

Человеческие средства передвижения — ноги, свои

и лошадиные, если человек сел верхом на лошадь, сани и телега, вагон поезда, пароход, автомобиль, аэроплан,— если представить, что конструкция человеческой работы может быть элементарной, как пешее хождение или как телега, и может быть сложной, как простота авиомашин, то конструкция аггеевской работы — конструкция самолета. На берегу озера Сергею Петровичу хотелось быть дедом, человеком труда, как пешее хождение. Самолет — на самом деле сложен главным образом своею гениальной простотой сложнейшего расчета. Самолеты рассчитываются так для того, чтобы избежать смерти, ибо всякая неточность для самолета — смертоносна. Самолеты рассчитываются так, чтобы жизнь побеждала смерть. Гибель «Максима» — случайность. Но до сих пор еще человек, подходя к самолету, думает о смерти. А смерть — конечно она совершенно закономерна, каждый живущий умрет и знает об этом,— но каждый живущий воспринимает свою смерть — случайностью.

Смерть! — мысли о ней хранятся, не подлежа оглашению, там же, где хранятся любовь и рождение детей, и у каждого человечка бывает смертное беспокойство.

Мысли о смерти иной раз надолго оставляют человека; иной раз они идут тучами, полчищами; иной раз нападают они партизанами. Смертные мысли приходят в час рассуждений о прожитом, человек в праве сопоставлять гулкую свою молодость и то, что надумано было в молодости, с тем, что случилось, что сделано. Магнит в десятилетках, в физических кабинетах вскрывает законы творчества. Когда у писателя возникает образ, опилки начинают двигаться, приходят в геометрический порядок, принимают за-

кономерные формы. И в смертные мысли подсчетов заказанного зарею гулкой юности и сделанного ко второму любовному посеву в смертную ночь Сергей Иванович записал в свои черновики заготовку рассказа:

«В поезде, за час до станции, человек плотно поел. Поезд уходил в тайгу, на север, за окном медленно зеленели сумерки, которые будут зеленеть всю ночь. За столом сидел широкоплечий человек. Вид наголо бритых, если им за пятьдесят,— бритые затылки, скулы, губы,— всегда чут-чуть бесстыден. Такие люди борются с неряшливостью старости, скрывают старость, возраст их стерт, и у них всегда подчеркнута воля. Человек накругло был брит. Зеленые глаза смотрели сосредоточенностью и собранной волей. Он был одет в кожаную куртку и в смазные сапоги. К станции поезд подошел в вечер. На станцию человек вышел с портфелем в руках, без вещей, хотя в поезде он ехал полторы тысячи километров. Северная безвестная станция легла на десятки и даже сотни километров от жилых мест, в тайге и в болотах. На станции человек не задержался. Он пошел за переезд в зеленую ночь и в тайгу. Сразу за станцией тайга приняла человека в свои запахи, шумы и движения, которым было тысячелетье. Сразу за шпалами над головой потянули вальдшнепы. Сразу лес зачихал тетеревиными токами, направо, налево, впереди. Страшная и огромная, между елей пролетела сова, испугалась, приняв, должно быть, человека за рысь, свернула круто и прокричала, как плачут дети и как воют в субтропиках шакалы. Человек вынул компас и пошел прямо от железно-

дорожных шпал, туда, где не было никакого жилья, где были одни болота. Весенний лес пахнул прелью, хвоей, грибами, влагой, сложными и очень многими запахами. Весенняя ночь светилась зеленым светом пустого неба. Через час человек уже не шел, но полз, пробираясь сквозь спутанные сучья, выпутываясь из паутины и прошлогоднего вереска. Ель, лиственница, бересклет, можжевельник, низкорослая береза, ольшаник перепутали себя веками и непролазно. Старые ели и лиственницы умирали здесь же, повисшие на соседях. Так полз человек час, два, три, в тысячетлетней ночи, нетронутой тысячетлетиями, в месте жительства лосей и медведей. Тайга начала редеть, и ели стали ниже. Земля закачалась под ногами. На полянах небо отражалось в студеном, страшном, неподвижном, пахнущих льдом болотных раменьях. Их становилось все больше, этих оконцев. Мертвые ели сваливались в них, засосанные качающейся землей. Человек сел на одну такую мертвую ель, корни которой лежали на земле, но мертвый ствол опустился в воду. Человек собрал сухую морошку и клюкву, развел костер. Человек внимательно просматривал свои карманы и свой портфель, книгу, развернутую на половине, бумажник, паспорт, партийный билет. И человек медленно сжигал их на костре: портфель, книгу, бумажник, деньги, паспорт, партбилет. Человек сладко выкурил папиросу и бросил в костер папиросную пачку. Когда костер прогорел, человек сбросил в воду пепел и обгоревшую землю прикрыл травой. С револьвером в руке человек пошел по стволу мертвой ели, держась за сучья, на середину раменья. Человек выстрелил себе в ви-

сок. Секунду, две человеческое тело было неподвижно, затем оно рухнуло навзничь, на спину. Плеснулась вода, качнулось в воде небо. Через минуту вода была попрежнему неподвижна, отражала белесое небо и пахнула льдом. На секунду, на две, на пять после выстрела стихли лесные шумы, а затем, в пяти шагах от того места, где горел костер, сладостно заточился глухарь. Пришел уже рассвет. Из елей вышел лось и пошел к раменью — пить.

В Москве были вскрыты письма.

«Когда изнашивается токарный станок, его выбрасывают за ненадобностью иль посылают в мартен на новое литье. Не буду лицемерить, — человеческая старость — это износ. Не буду лицемерить, — мне много приходилось хоронить и друзей, и врагов, и братьев, — и это было лицемерно, скучно, никому не нужно. Труп человека — это не человек. Жалко человека, живого человека, а труп — всегда вызывает брезгливость. Я уже стар, я плохо работаю, мне отвратительно думать, что я буду еще более бессильным, буду глупеть, как глупеют старики. Мне стыдно думать, что я доставлю моим друзьям такую неприличную заботу, когда они должны будут отрываться от своих дел, чувствовать себя актерами в почетном карауле, скучать за закономерной фальшью похоронных речей, брезговать присутствием трупа. Никому не нужно! и никак не нужно мне. Человек — общественное достояние, конечно. Его жизнь принадлежит классу, партии, детям. Но дело каждого человека также быть джентльменом. Когда сам человек чувствует, что пружина его жизненной энергии размотана, что баланс его дел и жизненной

значимости для общества пассивен, он в праве распорядиться самим собою. Это не малодушие. Это — воля и сознание того, что не жизнь командует мною, но я командую жизнью. У меня нет детей, и давно уже умерли мои братья. Я болен, и все лучшее, что я мог сделать, я сделал уже. Товарищи, я знаю, что такое конспирация, — труп мой уничтожен мною так, чтобы его никогда никто не нашел, и искать его не следует. Дорогу молодости, бодрости, здоровью!»

Ивановские ответственные работники, люди дел, сконструированных, как самолет, ездили отдыхать к озеру, которое Сергей Иванович никогда не видел раньше, но которое напоминало ему то раменье, где Абреков хоронил свои смертные мысли.

В жизни все было не так, как в рассказе. Магнит физических свойств образа увел рассказ от арбековской реальности в безымянное раменье.

Десятилетие после первого любовного посева бездетной, а по существу и безлюбивой жизни с женщиной, от которой не нужны были дети, привело Арбекова ко дню, когда во всем доме он сстался один. Ему показалось, что он один во всем мире. Он запомнил навсегда тот вечер. Была весна, сумерки. Он возился в саду, копая грядки. Затем он обошел все двери, чего никогда раньше ему не приходилось делать, проверил, заперты ли, разделся и лег в большой, пустой и разоренной комнате. Он взял книгу и бросил ее. Он потушил свет. Он ощутил, что он совершенно один в мире. Он не думал о своих первых детях. Ему показалось, что его дом покрылся громадным слоем пыли. В пыли он увидел свои книги, написанные им за жизнь. В пыли он увидел свой

мир и все, пройденное им. Он думал о пыльном прожитом. Оно казалось пустым. Нет, он никак не думал о том, что смерть может, а тем паче должна прийти в эту ночь. Жизнь впереди была очень большой, но смерть — ничто, небытие, всяческое неощущение, — была нестрашной. Она ощутилась домашней паршивой собакой, которую можно пустить в дом, но можно и выгнать из дома. Жизнь была сильнее смерти, со смертью можно было играть на самом деле, как кошка с мышью. Жизнь и смерть казались лежащими в жилетном кармане. Дом же попрежнему пребывал в пыли, в громадных слоях пыли. В доме, в комнатах залегло среднеазиатское удушье. Он вновь ощутил, что он совершенно один в мире. Ему стало очень скучно, смертельно скучно. Дом был пуст и безмолвен. Дом, дела, ерунда бытовых мелочей путали свои необходимости. Все казалось скучным до безразличия и до бессилия. Но Сергей Иванович был писателем. Заработал магнит, Сергей Иванович поднялся с постели, зажег свет, сел к столу и записал заготовку для рассказа о человеке, хоронящем себя в тайге и оставившем письма о праве индивидуума на смерть. Раза два над бумагой Сергей Иванович говорил вслух:

— Нет, товарищи, я хозяин вещей и дел, но не дела хозяйничают мною!

Рассказ был кончен, но ночь еще не закончилась. Сергей Иванович вновь лег. Смерть — это ничто, пустота. Жизнь всегда казалась Арбекову деланием. Если у Сергея Ивановича проходил день без положенного количества прочитанных страниц и написанных строчек, пусть даже веселый день, — такой день ощущался Сергеем Ивановичем как ворованный. Быть может, Арбеков чувствовал долг перед жизнью, ко-



торой он должен был — так ощущал он — отрабатывать своими страницами.

— Ну, а если, — не работать, на самом деле отдать себя на слом? — смерть — это ничто, пустота, неоощущение, да, так. Но, вот, — жить только для того, чтобы только видеть? — знать не себя, не дом, а...

Арбеков услышал гулы, социальные в первую очередь. Он услышал мир, свою родину в первую очередь, — никак не похожую на болотные топи и на безымянную станцию, — родину замечательных дел и событий, родину перестроения истории, переселения народов от феодалов к социализму, рождение народов из небытия, городов, дорог, индустрии, — судьбы миллионов человеческих индивидуальностей, в коих судьба Сергея Ивановича меньше, чем икринка в весенний нерест, — судьбы миллионов, прошедших невероятные карьеры, нарывших карьеры для домен и для новых рек, перестраивающих труд, природу, историю. Арбеков ощутил путь ледокола истории, ледокола, трактора, домны, — путь партии российских большевиков. Арбеков увидел ледокол истории его родины на земном шаре и тот исторический водоворот, который поднимался вслед пути ледокола его родины. Все это было чудесно.

Разве не стоит жить только для того, чтобы видеть эту эпоху, — даже только видеть? — и разве не вдвойне чудесно быть — ну, хотя бы каменщиком эпохи?!

А дом, а книги, покрывшиеся пылью в эту ночь среднеазиатского удушья комнат и ночи, — разве они не были материалом для работы каменщика? — разве они не могут работать дальше, разве нельзя написать книги так, как они нужны эпохе? — рабо-

тал новый, другой магнит гражданина коммуниста, человека класса из своей страны.

Рассказ о гиблых болотах был выкинут.

И ночь уже прошла.

Сергей Иванович заснул. В сорок лет у людей появляются ощущения, которых не было в двадцать лет. Не случайно у древних государством правили старцы, а вожди народов всегда становились вождями за сорок лет. Для Арбекова ж решающей была эпоха та, где люди в двадцать лет были и героями и вождями. В Коломне у Арбекова были дети весеннего посева. За месяц до этой ночи, в театре, Сергей Иванович встретил девушку.

Любовь!.. она больше и всеобъемлющей образа! — и необязательны утверждения о первой, о последней любовях, — та любовь проходит основной в человеческой жизни, которая отдает и берет все любовные права, сопрягая человека, созвучание людей, соответствие людей — обязательно — с рождением детишек, — без детей не может быть любви даже у прекраснейших двоих, одинаково поднявших голову. Но и тогда, когда есть дети от женщины (или от мужчины), в которых не прозвучал, не дозвучал человек, тогда также нет любви!

Равно, как из тысячей опилок и пыли виденного и слышанного магнит образа отбирает то, что созвучит сознанию и ощущениям писателя, — так из тысяч женщин, проходивших мимо Сергея Ивановича, прозвучала полной любовью девушка, — тогда в театре, когда узналось о ней, что через три дня она уезжает на родину, на лето, в горы.

Утром, проснувшись, Сергей Иванович знал, что у него тысячи известных ему друзей, в СССР и во всем мире, — у него были миллионы друзей, ему не-

известных, также в мире и в СССР. Он чувствовал себя очень крепко и хорошо поставленным среди человеческих миллионов, которым он был обязан и которые имели решающее право на его жизнь. В мире было очень много солнца, все заполнялось солнцем. В то утро Сергей Иванович звонил по телефону, разыскивая маляров, чтобы они перекрашивали окна и двери и переклеивали стены в доме. То утро вытряхивало из дома десятилетие бездетной, а по существу и безлюбовной жизни, закончившееся пустым домом, когда Сергею Ивановичу казалось, что он один во всем мире. Оно уничтожалось неверностью всего бездетного десятилетия. Отзвонив по телефону о малярах, Сергей Иванович возился с книгами. Он знал, что он в мире и с миром. К вечеру приехал Яков Андреевич. Холостяки устроили холостой обед. Мясо, поджаренное кустарным образом,— много мяса, много масла и много лука,— было очень вкусно. Дом Сергея Ивановича пустовал потому, что он только что покончил с разводом. Яков Андреевич пребывал в бракоразводном состоянии. Обедали, как гастрономы, и разговаривали о делах Якова Андреевича, как бракоразводные знатоки.

Жил Яков Андреевич с женою тринадцать лет и жил прохладно, автоделом занятый больше, чем женою. Приехал однажды Яков Андреевич домой с работы,— звонок, пришел человек, отрекомендовался: «Бедросов, будущий муж вашей бывшей жены». Дня три до этого жена Якова Андреевича пропадала из дома, разводила «семейный купорос», как определял Яков Андреевич. Под Яковым Андреевичем стул поехал,— какой муж, какой жены? — «Вашей жены Клавдии Ивановны,— мы с ней рабо-

Таём в одном учреждении и учимся в одном институте,— я имею твердые взгляды на брак, быть в положении любовника считаю нечестным и пришел объясниться с вами!» — Наутро Яков Андреевич ездил с Клавдией Ивановной в загс, перешел в холостое состояние. Протекла неделя, другая, Клавдия Ивановна — дома, молчит, не учится и штопает чулки, и вдруг: «Это что же такое, почему ты все время отмалчиваешься? — когда же мы будем делить вещи и ты предоставишь мне новую квартиру!» — стул под Яковым Андреевичем опять поехал, Яков Андреевич сказал: «Что касается вещей, бери пожалуйста свои вещи,— а насчет квартиры — заботься сама и мужа твоего попроси, я своими делами занят,— поезжай под крышу нового мужа». Вещи жена растащила по разным углам, но уехать никуда не уехала, и дома не ночевала. И вдруг опять «купорос»: «Это что же такое, мне не дают квартиры, я должна жить на два дома, я не успеваю учиться, меня из института выгонят, сделали уже предупреждение!» — Яков Андреевич руками разводил: «Мамаша, милый друг, в какой это морали написано, что я виноват в твоей учебе в силу того, что ты не можешь согласовать супружеские наслаждения с учебой?» Яков Андреевич звонил Бедросову, как серьезному человеку, назначил в ресторане свидание. Встретились, говорили о том, что-де полтора уже месяца волокита идет, пора кончать,— если, дескать, у Бедросова на самом деле одна комната и нет места для жены, то надо сообща подумать, по-мужски, и надо сообща квартиру искать. Бедросов говорил: «Я ей двадцать вариантов предлагал, и не так уж плоха моя жилплощадь, но она — она, с одной стороны, считает, что у нее нет основания обогащать

ваѣ квартирным имуществом, на половину котораго она имеет право на основании статьи десятой семейного кодекса, а с другой стороны — она не хочет притти ко мне бедной родственницей». Яков Андреевич сказал Бедросову: «Вы же мужчина, вы же муж, ведь ваш медовый месяц на скандалах построен, на недоверии, — повлияйте на жену, как муж!» Бедросов дал честное слово, обещался разговаривать с женой категорически, чтобы она переезжала к нему в его комнату. Распрощались. Со свидания Яков Андреевич заехал к Сергею Ивановичу, передать о совещании, посоветоваться, — уехал домой и через полчаса опять вернулся, обескураженный. Рассказал о событии, — приехал, домработница в страхе, — Клавдия Ивановна пришла в неурочное время и расплакалась навзрыд, схватила скатерть на столе и сдернула ее на пол, графин разбила, сама упала на диван и била по дивану пятками, потом прижималась ко всем стенам, плакала уже потише и причитала: «Обоих, обоих, обоих мужей у меня отняли!..» Это домработница Якову Андреевичу рассказала в прихожей. Яков Андреевич вошел в комнату. Действительно, обеденный стол без скатерти, жена сидит за письменным столом, пишет, лицо ясное, покойное и злое, — глянула на Якова Андреевича и обдала льдом: «Рады? добились своего? — можете поздравить! — с Бедросовым я расхожусь и никуда отсюда не уеду!» Затем события переселились в народный суд.

Яков Андреевич весело рассуждал о том, что, мол, как, мол, это так получается? — жили люди тринадцать лет вместе, было и хорошее, было и плохое, — плохого старались не замечать и не помнить, — а тут в двадцать четыре часа все полетело к чортовой мате-

ри и уж ничего хорошего не осталось, одно стервятчество. Сергей Иванович хохотал, слушая Якова Андреевича. Он придумал историю, от которой ему стало вдвойне весело,— он рассказал Якову Андреевичу трагическим голосом:

— В пять часов дня, счетом от Гринвича, на всех долготах, на всем земном шаре, в городах и вообще во всех местах человеческой оседлости, в полях и в лесах, на пароходах, в поездах и на автомобилях, на заводах, в отелях, министерских правительственных квартирах,— всюду, где были люди,— все жены обратились к мужьям с одною и тою же речью,— почти все жены за промиальными исключениями,— жены были тихи, лиричны, внимательны, но действовали, как лунатики, хотя глаза их были ясны,— они сказали, примерно, следующее: «Поль, Пауль, Пабло, Паоло, Сидор, Изидор, Отто-кичи, Ван-ли, Абдуррахим»,— на всех языках, все мужские имена мира,— «я должна сказать тебе правду, которую я скрывала от тебя. Я была не верна тебе. Я не могу больше скрывать... еще девушкой, это я скрыла от тебя перед замужеством... ты работал, твой друг, который живет за углом... ты косил сено... мы были в компании, помнишь, наш общий знакомый, мы танцевали и вышли на воздух проветриться, в тот момент ты спорил о кризисе... я была на отдыхе...» — признания женщин варьировались, конечно, тысячами сюжетов, тысячекратно превосходящих сто сюжетов Бокаччио. Земля, как известно, вращается вокруг своей оси двадцать четыре часа. Счетом от Гринвича каждую минуту в новых городах и странах наступало пять часов дня. Двадцать минут шестого по земному шару взрывом отчаянного негодования понеслись мужские крики: «Мерзость!

позор! предательство! — и это ты, ты, ты, которую я так боготворил, которой я отдал все, что мог?! — и ты так предала меня, так издевалась надо мною, так предпочла меня этому ничтожеству из-за угла?! — и так позорно, так несложно, как какое-нибудь животное?! — мерзость! развод!.. и этот мерзавец, который называл меня другом, — я объяснюсь с ним, я докажу ему, он негодяй, я буду драться!..» — Половина шестого на земле творилось невероятнейшее. Телеграф смолк. Трамваи, поезда и пароходы остановились. Аэропланы сели на землю. Фабрики, заводы, министерские кабинеты опустели, не заперты, и воровства не было. Лифты, улицы, площади, дороги вымерли. В странах на дальнем западе от Гринвича, где пяти часов еще не наступало, были отданы приказы по армиям, по военным флотам готовиться к отражению противника. Экстренные газетные выпуски домышляли: — «Новая небывалая чума!» — «война!» — «радиосвязь с Англией, Францией, Испанией и Португалией порвана!» — «зловещее молчание Запада расценивается в японских военных кругах...» — «небывалая доселе в мире чума перекинулась на Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чика...» — В шесть часов от Гринвича вдруг улицы наполнились мужчинами. Мужской мир одет был, как попало, иные без пиджаков, почти все, министры и крестьяне, без шляп, с самыми несуразными предметами, зажатыми в кулаках. Без всякого соблюдения сигнальных огней, которые, впрочем, бездействовали, по улицам со скоростью двухсот километров мчали автомобили одиноких водителей. Вообще все мчалось. Пешеходы, не видя и толкая друг друга, никак не извинялись, шли на рысях. Двери домов, кабинетов, спален, бы-

ли открыты настежь. Двери кабаков были открыты настежь, и там до десяти часов ночи никого не было. Шедший за угол объясняться с другом встретил друга на углу. Два друга схватили друг друга за плечи, и оба воскликнули очень свирепо, категорически, не терпя возражений, одни и те же слова: «Послушайте, милостивый государь! вы — бывший мой друг, — я все знаю о вашем поведении! — моя жена...» Два друга повторяли друг друга, как эхо. Два друга долго не понимали, что они говорят. Тогда друзья стали разглядывать друг друга, точно впервые распознавали. Руки их опустились. Глаза их стали пустыми, точно они не имели чистой совести. И глаза их стали совершенно одинаковы. Они молчали. Молча, не попросившись, с видом, точно они не узнали друг друга и никогда не знали, они побежали в разные стороны. Несколько шагов они бежали, точно на ногах их были гири. Затем они сбросили эти гири и помчали облегченно. Часов в семь вечера, хотя это было идиотски несуразное время, толпы мужчин ломали двери загсов, духовных консисторий, нотариальных контор, мэрий — в поисках экстренного развода. Часам к десяти мужчинами начали наполняться кабаки и безмолвно открылись двери винных лавок. Ни продавцов в лавках, ни кабатчиков не было. Посетители сами лазили за стойки, наливали стаканы и кружки, презрительно бросали на прилавки франки, шиллинги, пезеты, доллары, даяны, рупии, лиры, марки, драхмы, кроны. Ночи, конечно, никто не спал. Часам к пяти утра, к рассвету мужья допрашивали жен, требуя психологических объяснений, психоаналитических оправданий измены, предательства, лжи, — и мужья трагически хаватались за головы, прислонялись к сте-



нам, рвали волосы, грозя револьверами самим себе и женам. Следует, однако, отметить, что ни убийств, ни самоубийств в ту ночь на земном шаре не произошло ни одного. Ни кофе, ни чай, совершенно естественно, в то утро не кипятились, равно как не было и никаких работ. Допросив психологически жен, мужское человечество погрузилось в самое себя, каждый индивидуум в отдельности. Можно было предположить, что социальная связь, равно как и связь времен, распались. Мужское человечество от измен жен, а также с перепоя и от бессонницы, наматывало на головы мокрые полотенца и стонало зубною болью. Земной шар вращался вокруг своей оси. И ровно через двадцать четыре часа от начала всемирно-человеческого катаклизма, то есть опять-таки в пять часов, произошел второй катаклизм. С ясными глазами, пусть эти глаза были красны от перепоя и от бессонницы, тихими голосами заговорили мужчины: «Мария, Мари, Мэри, Тэкла, Фекла, Тореко, Фатима», — на всех языках все женские имена мира, — «и я должен сказать тебе правду... ты же понимаешь, что количество женских измен на земном шаре арифметически равно количеству мужских измен, так как женщины изменяют с мужчинами... Еще юношей, я это скрыл от тебя перед браком...» — повторилось то же, что было за сутки до этого с мужчинами, с небольшими отклонениями. В основном женщины отличались тем, что если мужчины все же хотели углубиться в себя и даже стремились к одиночеству, то женщины, наговорив неприятностей подругам, устремлялись к домам и квартирам своих матерей или ехали к другим женщинам, с которыми их мужья им не изменяли. Женщины стремились кооперироваться. Женщины не требовали от мужей пси-

хоаналитических экзерсисов, но, тем не менее, они не спали и не давали спать мужьям. Мир не спал вторые сутки. На третьи ж сутки земной шар заснул. Спали все, спали всюду в городах, в полях и лесах, на парходах, в поездах и автомобилях, в прихожих, в спальнях, на постелях, на полу, на траве, даже на чердачном бетоне. Спали упоенно и проснулись отдохнувшими. Мужья взглянули на жен, жены глянули на мужей. Те и другие отвернулись друг от друга смущенно, но не злобно. Человек из-за угла быстро оделся, чтобы идти на работу. Он спустился на улицу. На углу он встретил друга из-за угла. Оба они на момент стали вкопанными — и они пошли друг другу навстречу, добрейше приподняв шляпы. Они хитро улыбались. Они сказали друг другу одно и то же: «Не правда ли, человечество вступило в новую эру морали?!» На углу уже продавался экстренный выпуск газеты. Литераторы, философы и моралисты дебатировали тему о новой эре. Вечерние выпуски газет были наполнены сенсационнейшим сообщением и печатали портрет французской женщины-гипнотизера, которая своими гипнотическими талантами учинила мировой катаклизм. На месте передовиц печаталось интервью с этой француженкой: «...великий ученый, эта женщина-гипнотизер, человек гениальных способностей, еще молодая и достаточно красивая женщина, грандиозным напряжением воли заставила мужское и женское человечество выслушать и рассказать друг другу сексуальную правду, в твердом убеждении того, что знание этой голы правды перестроит человеческую мораль, уничтожит инстинкт ревности, отметет пережитки права собственности в любви, убьет ложное сексуальное самолюбие и принесет человечеству счастье...»

Яков Андреевич слушал рассказ Сергея Ивановича и хохотал до самого чистого сердца. Когда Сергей Иванович закончил рассказывать, Яков Андреевич сказал, хохоча:

— А на четвертый день были еще два сообщения, обоснованные учеными лицами. Во-первых, о том, что эта гипнотизерша произвела всемирную чистку со зла на мужа, который ей наставлял рога. А во-вторых, в вечернем выпуске добавили, что эта гипнотизерша, взволнованная всемирной славой, поехала отдохнуть в Швейцарию, а там на нее напали фашисты и убили в наказание за те муки, которые они пережили со своими национальными женами!..

Яков Андреевич и Сергей Иванович хохотали веселейше — каждый над самим собой.

А через день самолет нес Сергея Ивановича на Харьков, на донской Ростов, на Минеральные воды, на Махач-Калу, на Баку, на Тифлис. В Тифлисе надо было узнать адрес девушки, которая магнитом образа всей жизни прозвучала в московском театре. Автомобиль пошел на перевал по Военно-грузинской дороге. С Арбековым ехали Цициан Табидзе и Шенгелая. С вечера в ауле Коби Шенгелая заказал коней. Ночевали на станции Казбек, — на перевале Казбек, около горы Казбек, в доме, где жили феодалы Казбеки, один из коих, Александр Казбек, живший в середине IX века, был большим грузинским писателем. Знойный день закончился на перевале морозом. Гора Казбек на рассвете, открытая от облаков, в вечном снеге, стояла не дальше, чем в километре. На рассвете автомобиль отвез Арбекова и Шенгелая до аула Коби, — Цициан, легендарный тамада, остался на станции Казбек, чтобы до-

быть барашка и приготовить к вечеру шашлык и пир. В Коби Арбеков и Шенгелая пересели на коней. В Коби разветвляется Терек, и два Терека спорят между собою за название большого и малого. Один из Терекон уходит в ущелье Трусон и меж скал подбирается к ледникам. Солнце наполнило мир. Кони пошли в ущелье вдоль Терека, под скалами и над Терекон, почти до самых снегов. Громады скал висели справа и слева. Солнце жгло мир! Небо было рядом с конями и с горами. Терек падал с порога на порог. В иных местах пороги посидели сталактитами минералов, вынесенных из горных недр, растворенных Терекон и вновь окаменевших. У нарзанных ключей, вытекавших из расщелин, лежали туры и бараны рога, чтобы прохожий мог напиться. В сжигающем солнце кипящий холод нарзана, пахнувший водородом, был благостен. За шумом Терека, на громадных высотах, почти у ледников пространства сковывала космическая тишина. Синий свет высот путал пространства, когда Казбек на самом деле казался рядом. В Трусон лежала первобытность. Кони шли иной раз по тропам, когда одно колено сидящего на лошади чертило скалу, а за другим коленом Терек падал в отвес. На скалах висели редкие аулы, оставшиеся от первобытности, где жилье хозяйственной, она же родовая семейная, единицы было не только жильем и бараньим загоном, но и крепостью, очень напоминавшей Арбекову поселки североамериканских индейцев, где со двора на двор переходят по переносным лестницам, где обязательно есть потайные места иходы, где крыша одной сакли является террасой для другой, где вокруг обведены глинобитные с камнем стены, над которыми поднимаются высокая башня, и

зернохранилище, и крепость в первобытных войнах разбоя и родовой кровной мести, и месторождение легенд, и убежище от пожара. Шенгелая и Арбеков приехали в аул, разместившийся под самыми ледниками, около снегов. Космический простор света и космическая тишина полегли над аулом. Ее, ради которой они приехали, не было в ауле, она ушла на ту сторону ледника в горы, заготавливать дрова. За нею помчался верхом без седла и босой подпасок. С крыши сакли, где лежали для отдыха и в ожидании Арбеков и Шенгелая, видны были истоки Терека, вытекающие из-под снегов, и видны были долины зеленых трав, откосы и обрывы, родина баранты. Над аулом высились башни. В ауле было пусто, люди ушли на пастбища и на поля, на тощие ячменные лоскутья полей, повисших по скалам. Столетний старик, помнивший Ермолова, повел в подземелье своего клана; подземные ходы шли к аульной площади, во внутренний двор и под башню; по кварцитовым ступенькам Сергей Иванович поднялся на вершину башни; он был один в воздухе и тишине; солнце выжигало аул. Под аулом, на той стороне реки, из леса со склона горы появился всадник. Он вброд переехал реку, очень осторожно, и карьером, точно лошадь стлалась по земле, помчал к аулу. По ступенькам улицы аула всадник ехал шагом, гордо сидя на неоседланной лошади. Это была она. Она была боса. Ее руки, лицо и босые ноги потемнели от загара, как оливковое масло. Она не узнала Сергея Ивановича. Она долго не выходила из сакли, переодеваясь. Часы шли к закату. Шенгелая и Арбеков сказали ей, что они приехали за нею, что на Казбеке Цициан Табидзе добывает барашка, что кони готовы и надо сейчас же ехать,

чтобы не заморозиться и не заморозить шофера в Коби. До Коби было тридцать километров. Она собралась. Выехав из аула, они помчали карьером. Шенгелая ускакал далеко вперед. Но ночь обогнала коней. Стемнело сразу в этой полуденной стране, как Пушкин и Лермонтов называли Кавказ. И тогда прогремел гром, точно горный обвал. Гроза была далеко, горы долго по скалам кидались эхом, и эхо повторяло громы. Шенгелая повернул, подъехал к Арбекову. Он остановил коня, прислушиваясь к горам, горец.

— Надо поспешать,— сказал он,— будет гроза, внизу пойдут потоки, поднимется Терек, не доберемся до Коби, могут быть обвалы.

Сергей Иванович сидел в седле хуже и ее, и Шенгелая. Шенгелая опять ускакал вперед. Кони ее и Арбекова шли рядом, стремена стукались иной раз друг о друга, звякая. Сергей Иванович заметил,— на отвесных тропинках ее конь всегда шел крайним к обрыву. Кони спешили. Но гроза обогнала коней. Опять гремели громы и громом кидались горы. И полыхнула молния. Арбеков это видел впервые в жизни,— молния блеснула не над ним, но под ним. Гроза была внизу. Они были над грозой. Ее стремя звякнуло о стремя Арбекова. Сергей Иванович протянул руку во мрак и коснулся ее плеча. В крошечном мраке конь Сергея Ивановича наехал на круп коня Шенгелая. Шенгелая любовался грозой. Внизу металась молнии. Фосфорический свет и мрак внизу раскалывались громами грома и эха. Казалось, что горы кидаются скалами.

— На Военно-грузинской сейчас ливень,— сказал Шенгелая,— размочит дороги.

Над горами вверху в небе горели звезды. Мороз разреженного воздуха подбирался к ребрам.

Над грозой, у горных вершин люди могли думать о том, что они в космосе.

Гроза была внизу. Лошади шли шагом. В отсветах молнии вскоре направо и налево, впереди, мимо, снизу вверх, от Военно-грузинской к ледникам, к Казбеку поползли облака. Они спешили. Они шли одиноко и толпами. Они окутывали коней туманами и теплом долин. Их становилось все больше и больше. Они прятали в себя коней и горы. И вдруг рядом, в десяти шагах, разорвав тучи так, что лошади прынули друг к другу, сжав колени ее и Арбекова, одновременно взорвались молния и гром. Молния разрезала мрак в ослепительный свет, и судорога света ударила в скалу. Гром подхватил свет, содрогнул воздух, ударившись об одну, о другую, о сотую скалы. Казалось, что скалы падают в звуки. Через секунду новая грянула молния, разорвавшись громом. Хлынул дождь, и сейчас же со скал побежали, помчались ручьи, потоки, водопады. Громы и молнии спешили к Казбеку. Тучи были уже над головой.

Гром падал сверху. Под тучами падали дождевые потоки — и с неба, и с гор. Было по-земному душно. Из космического затучья люди возвращались на землю. Сергей Иванович не запомнил, когда он взял в свою руку ее руку. Под ливнем они подъезжали к Коби. Время уходило в полночь. Автомобиль не дождался их и, убоявшись дорожных размывов, ушел ночевать на Казбек. Пастушечья сакля, где спали пастух и овчарки и где пахло овцами, — стала ночлегом ее, Шенгелая и Арбекова. Пе-

ред сном они ели кобийский сыр. Эта девушка стала женой Сергея Ивановича.

В рассвет, когда пение русских соловьев — также в грозу — пахнуло ландышами, свежестью, бодростью, — в Палехе, в избе, за перегородкой около отца, спал, блаженно разметавшись, его замечательный сын. И не сын, но его мать оказалась тем замечательным магнитом образа всей жизни, не подлежащей оглашению, который сопрег и построил в закономерности, в заполненности и ясности форм все опилки десятилетий арбековской жизни. Именно в силу солнечной этой закономерности с Сергеем Ивановичем стали жить его старшие дети, внеся в дом комсомольство и пионерство. Именно в силу ее в дом, в сердце, в пространство. во время вселился полный образ любви...

И на Кавказе ж тогда, через несколько дней после поездки на перевал, в Тифлисе, в «Ориенталь-отеле», рассвет застал Сергея Ивановича, очень веселого и даже хитроватого, за столом, за бумагой, за рисованием кругов и за цифровыми расчетами. В тот рассвет, еще во сне и в счастье, Сергей Иванович ощутил смерть — холодным, ледяным, бессмысленным ужасом. Все будет цвести, будет светить солнце, новые писатели будут писать новые песни, а вот ты, твое я, твоя судьба, твои мысли и чувства превратятся в ничто, исчезнут, — этого ледяного ощущения смерти нельзя передать словесными ощущениями. Сергей Иванович проснулся от промозглой бессмыслицы, — и вот, на рубеже сна и яви, когда во сне оставался ужас, в сознании возникла веселая и хитрая радость. Это было изобретательство. Творческий аппарат Арбекова — магнит! — принес в сознание сообщение:



— Есть, товарищ Келлер! — есть способ обойти смерть! — найден!

Сергею Ивановичу показалось, что он делает мировое открытие. Должно быть, лицо Сергея Ивановича было ребячески радостно и хитро. Страх смерти был совершенно забыт. Арбеков сидел за столом и вычерчивал круги.

— «В двадцать четыре часа земной шар оборачивается вокруг своей оси... Как это? — сегодня же надо будет узнать!.. — какого размера радиус земного шара? тогда можно будет высчитать, с какой скоростью несется по пространству, по корде, ну, предположим, Москва. Ведь камешек, привязанный к веревочке и вращаемый рукою мальчишки, имеет свою скорость, — так и Москва, расположенная на конце земного радиуса, так же вращается вокруг земной оси, как камень вокруг руки мальчишки... Надо высчитать. Земля, Москва на земле, обернувшись вокруг земной оси, отсчитывает двадцать четыре часа, — ну, если вчера в двенадцать часов дня было седьмое число, то через двадцать четыре часа в двенадцать часов дня будет восьмое. Надо высчитать скорость вращения Москвы. И надо построить самолет, который мог бы летать любыми скоростями. Если он полетит над Москвою на запад со скоростью полета Москвы вокруг ее корды, он в двадцать четыре часа сделает тот же путь, что и Москва, то есть останется над Москвою. Если он полетит на восток, навстречу Москве, он встретит Москву через двенадцать часов. Это еще не открытие. Но если самолет будет летать вдвое быстрее, чем вращается Москва, то, вылетев сегодня в двенадцать часов дня вместе с Москвою на запад, самолет в двенадцать часов пролетит то же расстояние, что Москва,

в двадцать четыре часа. Самолет нагонит Москву с запада через сорок восемь часов. Люди на земле проживут уже двое суток, но люди на самолете проживут за это время только двадцать четыре часа. Если самолет ушел в небо сегодня в двенадцать дня, седьмого числа, люди, прожившие на самолете сутки, сразу попадают в Москву девятого числа. Время, обязательное для живущих в Москве, абсолютное для москвичей, само по себе никак, оказывается, не абсолютно. Ну, а если самолет будет летать в четыре раза быстрее вращения Москвы, люди на самолете за двадцать четыре часа проживут четверо суток жизни москвичей, из седьмого числа в двадцать четыре часа они сразу попадают в одиннадцатое. Если люди вылетят из Москвы первого января тридцать третьего года и пролетят три месяца, они сядут на землю первого января тридцать четвертого года. Ну, а если скорость самолета будет в восемь, в шестнадцать, в тридцать два раза быстрее полета Москвы,—прожив год на таком самолете, люди из сороковых годов двадцатого века — в один год — попадут в сороковые годы века двадцать первого!.. Пределов нет! — человек может растянуть свою жизнь на тысячелетье! — надо построить только скоростной самолет, и смерть будет обманута. Время не абсолютно. Но, если время не абсолютно, нельзя ли время попятить назад,—чорт его знает,—надо рассчитать,—быть может, человек, живущий сейчас, может прожить тысячелетье тогда, когда тифлиссские граждане за это же время успеют только помыться и позавтракать перед работой?.. Этому опять же поможет самолет. Как назвать такие самолеты? — стратосферические? — космические? — надо придумать!.. Предположим, самолет, ле-

тящий вчетверо быстрее Москвы, полетит на восток, навстречу Москве, вылетев также в двенадцать часов дня. Он встретит Москву через шесть часов. Москвичи в это время на часах будут иметь шесть часов дня, а человек с самолета видел уже и вечер и утро — или, иначе, прожил восемнадцать часов!»...

Вид Сергея Ивановича был очень добродушен и весел, и даже хитроват. Он не был силен в цифрах. Ему казалось, что он делает открытие мировой важности. Он рисовал на бумаге круги, Москву и муху самолета, пытался вспомнить математику, некогда преподаваемую Леонидом Александровичем, — тем самым, который «останься на полчаса без обеда!..» — курил, пил вино, снова рисовал круги, складывал быстроты полетов.

Днем Арбекову сказали, что он додумался до давно уже открытого, до одной из второстепенных функций теории относительности Эйнштейна. Сергей Иванович не расстроился: время не было абсолютным!..

У безымянного озера, рассказав о гибели «Максима», Арбеков вспомнил историю этого своего открытия, веселые часы с карандашом над бумагой. Бессмыслица смерти «Максима», — разве стратосферический, междупланетный самолет, который будет построен через десятилетия, и ясно уже теперь, построен будет в СССР, — стратосферический самолет, перед которым «Максим» окажется почти пещерным пращуром, — разве стратосферический самолет не окажет решающего влияния на судьбы сроков человеческой смерти? — пусть пока еще человек, подходящий к самолету, думает о смерти, люди, погибшие на «Максиме», боролись за преоборение человеческой смерти.

## ИСТОРИЯ ПЕРВОГО В РОССИИ И В МИРЕ СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

Нынешняя Ивановская промышленная область охватила земли от Владимира и Киржача до Углича и Пош-Володарска, и Ярославль, и Кострому — до Чухломы и Солигалича — до Макарьева и Семеновского. Каждый названный пункт человеческой оседлости — глава и дел российских, и истории. Дорога от Москвы до Палеха лежит через Владимир и Суздаль на Иваново. Владимир и Суздаль хранят памятники русского двенадцатого века, старейшие русские места. Посредине области протекает Волга. На экономических картах густо покрашены районы фабрично-заводской промышленности, и на первом месте здесь — Иваново, бывшее село Иваново и посад Вознесенский.

26 мая 1935 года было тридцатилетие Ивановского совета рабочих депутатов.

А тридцать лет и две недели тому назад тогдашний Иваново-Вознесенск, называвшийся тогда русским Манчестером, был, по существу говоря, скопищем нищеты почерневших от ветхости деревянных построек, раскинутых на шестиверстном пространстве. Изредка кое-где из-за нищеты поднимались каменные дома купцов и длинные корпуса фабрик. Основное же — солома и тес, чумазые избы и избенки, убожество и бедность. Обыкновенное село, — те же кабаки и тот же неизбежный трактир с чудовищами самоваров на вывесках. За избами и за фабриками — пустыри. За пустырями — лес. В городе жили — купцы и пролетарии. Одиннадцати с половиной часовой рабочий день сверхсрочными работами вырастал до пятнадцатичасового. В отбельных

отделениях и на плюсовых, где воздух был пропитан ядовитыми газами, рабочие употребляли противо-ядие — лук. В сушильных отделениях работы производились при температуре шестидесяти градусов, и рабочие работали голыми. У прессовщиков, которым приходилось работать рельефы с помощью крепкой, так называемой «царской» водки, обыкновенно вываливались зубы, — воздух в прессовальных отделениях до такой степени пропитывался парами «царской» водки, что газетная бумага желтела там через два часа, рассыпаясь в труху. На мойных машинах рабочий не мог работать больше двух лет. На ситце-печатных фабриках рабочий зарабатывал в месяц на круг десять с половиною рублей, а на ткацких — тринадцать. На зимний сезон расценки снижались. Рабочие штрафовались из жалованья «за дерзкие слова и поступки» и «за дурное поведение», — но «дурным поведением» не считалось, когда молодые работницы полуобязаны были сожительствовать с мастерами, с приказчиками, с сыновьями фабрикантов. При фабриках были фабричные тюрьмы. По древним традициям все имело свои прозвища. Купец-фабрикант Дербенев прозвался — Каустиком. Граверные отделения — травилкой. Рабочие районы — Ямы, Заверты и Рылихи. Сидеть без дела и голодать — работать у Ветрова-Гуляева. В крестьянской избе — в комнате — жило человек по пятнадцати, мужчины и женщины, старые и молодые, семейные и холостые, спали на полатах и на полу вповалку.

Треть ивановского населения умирала от туберкулеза. По государственной статистике, восемьдесят процентов призывавшихся в солдаты уроженцев Иваново-Вознесенска — браковались за хилостью

Человеческая судьба? — «Зимой и летом он постоянно ходил в полушубке и носил на рыжих сапогах кожаные, начищенные ваксой до блеска галоши. На длинной, выгнутой, как у гуся, шее болтался зеленый с горошком шерстяной платок; концы его, замазанные, с бахромой, служили носовым платком,— прессовщик сморкался в них и вытирал после кашля серые, с коричневыми пятнышками, губы. Прессовщик жадно, с проклятиями трудился. Когда он работал на прессе, лиловая кожа вздувалась на его тонкой шее, лицо багровело, и коричневые капли на губах бледнели, как лишай. Кашляя и хрипя, он налегал грудью на пресс, и казалось, что не прессом, а своим маленьким телом выдавливал он на молете рисунок. После праздника однажды он вошел в мастерскую, пошатываясь, уставился на пресс неподвижными глазами и хрипло, ни к кому не обращаясь, сказал: «В Могилев уезжаю. К-ха... Выпьем, дьявол вас побери, на прощанье!» — и впервые рассмеялся, у него были черные редкие зубы. Он попросил подручного сбегать в казенку. Когда тот вернулся с водкой, он снял с рыжего сапога блестящую галошу и, как рюмку, наполнив галошу водкой, обносил всех смолкших граверов.— «Пей — не жалей! — однова помирать!» — Он сорвал зеленый платок с шеи и, по-бабьи взмахивая им над головой, пустился в пляс.

Он запел:

Как на Уводи вонючей  
Стоит город наш могучий,—  
Ивано-Вознесенск!..

Он хотел спеть еще что-то озорное, но в горле забулькало, он зажал рот ладонью. Сквозь дрожа-

щие пальцы, нанизывая на них черные кольца, просочилась и побежала по бороде кровь. Прессовщик умер.

Купцы? — капиталисты? — ясно.

Ивановский совет рабочих депутатов был не только первым в мире советом рабочих депутатов, прообразом советской власти, — но он был также и большевистским советом, ибо ивановские пролетарии чистого вида естественно нашли чистого вида пролетарскую партию.

Семьдесят два дня длилась всеобщая стачка ивановских рабочих, и семьдесят два дня работал Ивановский совет рабочих депутатов. Стачка началась 25 мая. 26 мая заработал Совет и сумел себя поставить в посаде Вознесенском социалистическим государством в Российской — расейской! — империи, — так поставить, что губернатор спрашивал у Совета разрешений на печатание своих приказов и тот же губернатор писал в имперское министерство внутренних дел о нервах — у него-де «развиваются признаки сердцебиения и нервного расстройства».

Что требовали рабочие? (и как отвечали предприниматели?)

1) Восьмичасовой рабочий день (ответ предпринимателей: «перемена произведена не будет, так как вопрос рассматривается в государственном порядке»).

3) Отмена сверхурочных работ («отмены быть не могут»).

5) Минимум заработной платы для обоих полов 20 рублей в месяц («исполнено быть не может»).

7) Отпускать рожениц за две недели до родов и на четыре недели после родов с сохранением заработной платы (...«впредь до издания закона в государственном порядке»).

8) Устроить ясли на фабриках («устройство яслей находим крайне затруднительным»...).

14) Уничтожение обысков («к сожалению, отменены быть не могут. Обыски женщин можем допустить женщинами же»).

22) Уничтожение фабричной полиции и тюрем при фабриках («не подлежит нашему обсуждению, как явление законного порядка»).

23) Начальство и войска не должны вмешиваться во время забастовки в дела рабочих, иначе за последствия ручаться нельзя («не подлежит нашему обсуждению»).

24) Право свободно собираться и обсуждать свои нужды («...не подлежит нашему обсуждению»).

30) Устройство рабочих касс взаимопомощи («...не подлежит»...).

31) Установление праздников 1 мая и 19 февраля («празднование 19 февраля и 1 мая ввиду большого числа у них православных праздников и царских дней находим неудобным»).

«Начальство и войска не должны вмешиваться»... Когда Совет рабочих депутатов заявил властям, что он существует, власти дали для его заседаний помещение... мещанской управы. Все замечательно в судьбе Ивановского совета,—и то обстоятельство, что в память, в историю социалистического рабочего движения этот Совет ушел — Советом на Талке.



Ныне Красная Талка — так называлась река около Иванова — тихая река, протекавшая зелеными лугами мимо высокоствольного соснового бора. Совет заседал под открытым небом, на берегу Талки, на лугу и под красностволыми соснами. Совет заседал вместе со своей армией, с тридцатью тысячами рабочих, став для этих рабочих «вольным социалистическим университетом», как определило министерство внутренних дел. По утрам, когда не переставали еще петь соловьи и уходили ночные туманы, около лесной сторожки, на лужайке, на берегу Талки, были пленумы Совета, где обсуждались дела стачки, события и новости вчерашнего дня и на сегодняшний день. Пленумы всегда заканчивались совместными собраниями с выборщиками, когда депутаты по очереди забирались на дегтярную бочку, прикаченную из города, служившую трибуной, и перед тысячами стачечников отчитывались в делах и в событиях, в переговорах с предпринимателями, в сношениях с властями, в посланиях министру внутренних дел и братьям — рабочим. Здесь принимались и отсюда направлялись делегации. Здесь прочитывалась корреспонденция Совета, приветствия и угрозы. Здесь творился пролетарский суд. Здесь распределялись деньги, полученные от братьев, — по гривеннику на одинокого стачечника и по тридцати копеек на тех, у кого были семьи. Когда эти дела кончались, всегда выступали ораторы, которые говорили обо всем, что хотели знать рабочие. А рабочие хотели знать все, и ораторы говорили — о положении рабочего класса у нас и в мире, о рабочем движении, о социализме, о Марксе и Энгельсе, о Желябове и Вере Фигнер, о Добролюбове и Чернышевском, о Пушкине и Гоголе. Когда ораторы и слушатели утомлялись, ора-

горы и слушатели пели революционные песни. После песен ораторы говорили вновь, погружая внимание стачечников в их величества. Девяносто третий, Сорок восьмой и Семьдесят первый французские годы,— в пути и веси российской истории,— на большаки и проселки Ивановских земель, где фабриканты обросли каменными заборами, не менее крепкими, чем стены суздальских монастырей, а рабочие закапывались в нищету ивановских Ям, Завертий и Рылих, о пауках и мухах, о кулаке, подпертом казачьей нагайкой и троеликим богом. Это был вольный университет. Проходили май и июнь, когда заря с зарею близки, когда поют соловьи и бродят по ночам туманы. Многие стачечники оставались на Талке по ночам, и тогда под соснами горели огни таборов. В золе костров стачечники жарили картошку, ели ее с крутою солью и — конечно, через туманы в ночи — видели прекрасное будущее, если не для себя, то для своих детей и для своих братьев. Тогда пелись революционные песни, прекрасные песни. На рассвете на Талку приносилась из подпольной типографии революционная газета «Бюллетень Совета рабочих депутатов». И наступал новый день. Это был пролетарский лагерь — табор в лучшее — со своим написанным управлением и со своими традициями, написанными пролетарской дисциплиной, за нарушение которых высшей карой виновник должен был выходить перед товарищами и рассказывать им о своем преступлении.

«Начальство и войска не должны вмешиваться»... Бастовали, кроме ткачей, кустари феодальных «мануфактур», домработницы и прачки, половые ресторанов и трактиров, приказчики, железнодорожники, типографы. К Иванову присоединялись Шуя, Тейково,

Кохма. В Совет приходили ходоки из Лежнева, Родников, Орехово-Зуева. Крестьяне Шуйского уезда обратились к Совету с запросом: «Как отобрать землю и земских начальников уничтожить?» Крестьяне Муромского уезда присылали ходоков, чтобы они научились у ивановских рабочих «делать забастовку». Делегат Ивановского совета товарищ Терентий ездил в Кострому организовать стачку костромских рабочих и вывел их, как в Иванове на Талку, на берег речки Костромки. В Москве, в Саратове, в Ростове-на-Дону, в Ярославле собирались деньги для Иванова, и тамошние большевики выпускали прокламации ивановских событий. Совет организовал рабочую милицию и боевые дружины. Совет предложил губернатору, приехавшему на события из Владимира в Иваново, закрыть на время забастовки водочную и винную торговлю, равно как питейные и игорные заведения, — и губернатор закрыл их. Рабочие патрулировали фабрики. Распоряжения Совета были для рабочих законом, — и на самом деле распоряжения губернатора выполнялись только с разрешения Совета. Политические требования Совет посылал министру внутренних дел — через губернатора, и губернатор отсылал их. Город был военным лагерем двух классов, когда каждая сторона ждала случая померяться силами. Фабриканты объединились в «союз». Через губернатора они требовали рассылки паспортов бастующих по их родинам с тем, чтобы вслед за паспортами этапом разошлись бы стачечники, — Совет не позволил провести рассылку паспортов. Фабриканты запретили отпуск продуктов рабочим из фабричных лавок. — Совет отменил это распоряжение. Фабриканты писали и телег-

рафировали в министерство внутренних дел,— ивановский «кулак» не жалел телеграфных переводов:

«... То количество войска запятая которым располагает полицеймейстер запятая недостаточно для водворения мира и порядка точка жители города обращаются к вашему превосходительству с настоятельной просьбой прийти к нам на помощь точка городу грозит полный разгром и в недалеком будущем голод и убийства точка происходят ежедневные сходки не ради экономического запятая а ради политического вопроса точка процессии с флагами и непристойными на оных надписями многоточие анархия царит во всей силе многоточие жители посада тире города Иваново тире Вознесенска в страхе и ужасе точка власти бездействуют точка официальные сведения о том запятая что рабочие держат себя смирно запятая чистейший вымысел точка убедительнейше просим ваше высокопревосходительство немедленно защитить точка паника полнейшая точка жители бегут из города точка подписи...»

Официальные донесения были верны: рабочая милиция не позволяла «гулять» черной сотне. Министр внутренних дел предлагал властям «действовать!» — Губернатор сообщил министру внутренних дел и шефу жандармов, кроме своего нервного состояния, о том, что —

«...арестовать главарей невозможно ввиду правильной организации охраны стачки».

«...предвидеть конец забастовки невозможно ввиду неустойчивости сторон»...

«...результаты сходов сводятся к единодушному (по крайней мере с внешней стороны) постановлению продолжать забастовку»...

«...рабочие каждый день собираются на реке Талке, судят, рядят, слушают своих ораторов и, узнав их решения, мирно расходятся. И так изо дня в день»...

«...хотя в городе спокойно, но сходы за городом принимают противоправительственный характер, руководящая движением рабочая партия держит в своих руках массу»... «затрудняюсь запретить сходы ввиду слабости войск»... «убедительно прошу прислать лицо, облеченное большими полномочиями, могущее объединить деятельность всех ведомств, чувствую себя не в силах»...

«...С другой же стороны, если разгонять сходы, то, наверное, будут грабежи и поджоги; город и его окрестности будут в опасности; рабочее движение примет характер открытого мятежа»...

«...Воинские части крайне несочувственно относятся к своей роли охранителей порядка, так как оторваны от своего прямого назначения»...

Министр внутренних дел предлагал властям «действовать!»

И 15 июня в Иванове казаки расклеивали приказ за подписью вице-губернатора и отпечатанный во владимирской полицейской типографии.

«Ввиду ежедневно доходящих до меня от самих же рабочих сведений, что лица, собирающиеся на реке Талке, не ограничиваясь обсуждением своих чисто фабричных дел, занялись вопросами государственного значения, причем отдельные лица по-

зволяют себе явно возмутительные речи против правительства, я не нахожу возможным далее допускать многолюдные собрания на реке Талке, а также и в других окрестностях города, и предупреждаю, что виновные в нарушении сего постановления будут подвергаться законной ответственности».

Было солнечное утро 16 июня. Шло заседание Совета. Рабочие писали протест против приказа вице-губернатора. Еще с рассвета в это утро вокруг рабочего лагеря разместились казаки под командою полицеймейстера Кожеловского. И без всякого предупреждения, после залпа из винтовок, с гиком и свистом, оставшимся от татарских орд, с шашками и нагайками, казаки помчали на рабочих, на безоружных. Казаки стреляли в бежавших. Кожеловский арестовал председателя и секретаря Совета. На поляне у реки и в лесу лежали окровавленные люди.

23-й пункт стачечных требований гласил: «Начальство и войска не должны вмешиваться в дела рабочих во время забастовки, иначе за последствия ручаться нельзя».

И через час после расстрела в Иваново были уничтожены телеграфные и телефонные провода, вход в город от Талки был загроможден баррикадами, горели склады фабрики Гандурина, летели стекла складов и дома городского головы. К закату солнца на десяток километров вокруг Иванова полыхали зарева фабрикантских дач. А ночью рабочие дружины стреляли в казачьи разъезды и в полицию, загнав их по казармам. В эту же ночь фабриканты, иные переодетыми, уезжали из Иванова в Москву, телеграфируя по испорченным проводам губернатору и

министру о том, что в Иваново они не вернутся до тех пор, пока там не будет восстановлен «законный порядок». Но и губернатор, с эскадроном казаков, ночью тайком бежал из Иванова.

Совет рабочих депутатов не погиб с арестом его председателя и секретаря. Совет рабочих депутатов вернулся на Талку. Рабочие, вернувшись на Талку, постановили единогласно:

- продолжать стачку,
- требовать освобождения товарищей,
- требовать суда над Кожеловским.

Стачка продолжалась. Товарищи были освобождены. Губернатор из Владимира просил у Совета разрешения опубликовать в Иваново его приказ об увольнении в отставку ивановского полицеймейстера Кожеловского. Рабочие победили, перешагнув через кровь Талки. На кровь Талки рабочие ответили заревами пожаров фабрикантских усадеб.

Когда Совет рабочих депутатов собирался последний раз на Талке вместе с рабочими, чтобы вынести решение о возобновлении работ, он закончил свою резолюцию следующими фразами:

«Мы же, принимаясь за свой тяжелый труд на фабриках и заводах, примемся готовиться к другой борьбе, борьбе серьезной, на жизнь и на смерть, за свободу... И когда наступит час, когда весь народ восстанет с оружием в руках»...

Это были никак не пророческие слова,— но слова убежденного значения.

Это было тридцать лет тому назад, в медовом июне багряных зорь и в сенокосном июле Пятого года. Совет тогда просуществовал семьдесят два дня.

За Пятым годом шли годы от седьмого до четырнадцатого. Пятый год шел зарею перед Семнадцатым. Большинства, большинства тех, кто был на Талке, нет уже в живых,—но Талка есть первый в мире Совет рабочих депутатов, Красная Талка — прообраз советской власти. Талка напоминала Арбекову безымянное озеро смертных мыслей. Какая жизнь, какая жизнь начиналась на этих берегах!..

...Жить, жить! — жить бодро, радостно, с товарищами, в коллективе, в классе, с любовью и с детьми... — это и у безымянного озера и в соловьиноландышевую, не подлежащую оглашению палехскую ночь,— и жить никак не пешим хождением к раменьям, смерти, жить конструкцией самолета, жить на ледоколе истории, жить так, чтобы жизнь была прожита прекрасными грозами класса, революции, детей, любви!..





### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

...А жизнь...

Арбеков приехал в Палех тридцать лет спустя после Талки, за сутки до дня начала Совета на Талке и пробыл в Палехе почти столько же, сколько продолжалась Талка, талкские дни. Сергей Иванович знал, что жизнь должна быть, как искусство,— и он приехал на родину прекрасного.

*... если бы машина-шахматы  
была б изобретена, шахматы  
искусство исчезло бы.*

Палех сейчас на самом деле известен миру, ключ искусств. Схема его дел парадоксальнейша своими противоречиями: село богомазов, кустарей-отходников, организованных IX веком, вплоть до Октября в «феодалную мануфактуру», работавшее на консервативнейшие слои русского общества, писавшие иконы и расписывавшие церкви, уже столетия пребывавшее в ремесле,— это село, которое, казалось, должно было бы быть выкинуто Семнадцатым не только

за ненадобностью, но недоброй памятью, вслед за Семнадцатым вспыхнуло прекрасным искусством. Казалось, Палех утверждал себя и наши дни доказательствами «от противного», от несуразицы. В горнорудной промышленности и в химико-аналитических лабораториях знают, что в тигле новых сплавов или в разложении элементов в качестве отбросов иной раз возникают совершенно неожиданные конгломераты, которых никто не ожидал и не подразумевал, но которые оказывались необходимыми,— так можно было бы думать о Палехе. Промысел села был выкинут за ненадобностью, но люди села остались в жизни, мастерство осталось в их глазах и пальцах, их глаза и жизнь перестроились в тигле революции,— палешане ничего не делали, их рассвет и их искусство принесла им эпоха,— едва ли этот шахматный ход рассуждений был правилен для Палеха.

Палех был и есть русское село, живущее законами России. Палех, много терявший на своих веках, все же пронес от семнадцатого века до Семнадцатого года традицию Рублева, Чирина, Дионисия. Неистовый Голиков, который ходит в Палехе по улице Голикова с можжевелевым посошком, вместо Георгия-победоносца, жалящего дракона с белого коня, написал Семена Михайловича Буденного на красном коне в буденновском шлеме, жалящего гидру контрреволюции,— мастерство и традиции Андрея Рублева ожили, Буденный стал сказкой, вместе с Буденным сказкою стали наши дни, возникло искусство. Академический и академичнейший Баканов, который по вечерам сидит на скамеечке с внучкою около своего дома на улице Баканова, вместо богоматери с Иоанном написал двоих — его и ее — под золотым солнцем, среди «гребешков» икон пятнадцатого ве-

ка, в окружении синих и розовых барашков и облаков, назвав работу «первым поцелуем», — мастерство и традиции Прокопия Чирина сделали поцелуй святым, возникло искусство. Заслуженный деятель искусства Котухин написал заседание сельсовета экспозициями тайной вечера... Все это неверно для Палеха. Неверно, что Палех остался в рублевских иконописно-церковных традициях. Неверно, что Палех замкнут в сказке и в старине, превращенной в сказку. Неверно, что Палех умрет со своим старшим поколением.

Рядом с мастерскими палехского товарищества художников расположен Музей палехского искусства. Рядом с Музеем расположен Техникум палехской живописи. А вообще Палех — российское село, в котором обыкновенно живут художники и колхозники, причем иные колхозники мечтают стать и становятся художниками, равно как иные художники мечтают стать колхозниками. Жены у старейшего поколения колхозников и художников — одинаковых качеств и одинакового положения, причем художники называют своих жен «урядниками» по целому ряду художественно-бытовых обстоятельств, спасаясь от коих художники ставят по избам радиокричатели, чтобы жены не скучали. Село Палех, состоящее из улиц Баканова и Голикова, имеет свои просторечивые прозвания — «в горе» (улица Баканова), «слобода» (за рекой Палешкой, улица Голикова), Ильинская слобода (никем еще не названная), — и состоит село, ныне районный центр в честь художников, предпочтительно из обыкновеннейших российских изб, с «усадебными», огородами, сараями и гумнами. Село отличается от остальных российских сел только тем, что в каждой избе в Палехе стены за-

Вешены картинами и портретами палехского мастерства. Как улицы имеют свои прозвания, так и художники в просторечии имеют прозвища. Голиков прозван Тараканом, а Иван Васильевич Маркичев — Иван Забелой.

*... знать—это еще не уметь.*

Наутро Александра Михайловна, жена художника, бывшего художнического завхоза, Ивана Васильевича Вакурова (не того, который знаменит и заслужен), хозяйка Сергея Ивановича, сдавшая Сергею Ивановичу всю свою избу и переселившаяся в силу этих причин на чердак, сообщила:

— А в стаде-те что у нас деется, никогда такого не слыхивала,— бык коров сосет!

Наутро к Сергею Ивановичу пришли художники — друг Дмитрий Николаевич Буторин и друг Алексей Иванович Ватагин. Пошли в артель, то есть в правление товарищества, к председателю правления и другу Александру Ивановичу Зубкову. Друг Дмитрий Николаевич Буторин, возлюбивший краску шестнадцатого века русской иконописи, чем страннейше напоминает голландцев, написавший «у лукоморья дуб зеленый», изображавший рядом с Пушкиным самого себя во образе кота ученого, с золотой цепью, в золотых очках,— носил прозвание — Илья Федотович. Друг Алексей Иванович Ватагин, сохранивший и возлюбивший иконописный рисунок XII века, цвет XV века и орнаментацию XVII века, хранитель палехского стиля до консерватизма,— прозывался Ермолаем Охотником, а также — Велосипед. Друг Александр Иванович Зубков, председатель, основной критик и хранитель традиций товарищест-

ва, прозывался — Борона. Друзья уговаривались о рыбной ловле.

— Молчок, — сказал Александр Иванович.

— Ни мур-мур, — сказал Дмитрий Николаевич.

— Точка! — сказал Алексей Иванович.

До четырех художники работали. В четыре товарищи двинулись в Дягилево, в соседнюю деревню к художнику-философу и другу Николаю Михайловичу Зиновьеву, ушедшему к себе загодя, чтобы приготовить невод. По дороге до Дягилева встречались лошади явно голиковско-буторинско-дыдыкинского рисунка, с такими ж головами и шеями, так же изогнутыми. Рыбу ловили на Люлехе, поросшем камышом и купавами. Люлех был не больше Талки. Заводилами оказались художник друг Николай Михайлович Зиновьев, он же Кузьма Сидорович, да заготовщик друг Александр Васильевич Маркичев, брат знаменитого и заслуженного Ивана, он же — Александр — Пистон. Люлех тек тихими лугами в перелесках к темному лесу. Сначала художники оберегались воды, а затем, в чем пришли, полезли в воду, таскали невод, вытаскивали тони, и в каждой тоне вылавливали по щуренку, по два окунька, а то и ничего не вылавливали. Улова не было, но пыл художников не пропадал, и мокрые художники над неводом, на зеленом берегу реки, поросшей купавами и камышами, были совершенно точными копиями тех тонконогих рыболовов, которые написаны насмешником, стихотворцем и палехским французом, другом Иваном Ивановичем Зубковым в его истории о «Рыбаке и рыбке», а также многими другими мастерами. Художники тянули тоню к темному лесу. Солнце шло к закату, сделавшись и бакановским, и зубковским, и вакуровским. И у темного леса рыб-

ный лов был закончен. Были пойманы три щуренка, восемь окуньков, штук пятнадцать плотвиц. Под сосны темного леса принесены были — сковорода, льняное масло, хлеб, соленые огурцы — и водка, конечно. Началось питание по принципам христианских трех хлебов. Первое место командира занял заготовщик друг Александр Васильевич Маркичев, Пистон. Он оказался человеком прекрасного юмора, артистом порядка и качества народного артиста Ивана Михайловича Москвина. Он послал художников за сушняком, и он разжег костер, и он принялся чистить рыбу, и жарил рыбу самолично он, артистически, на льняном масле, круто посолив. Солнце село на землю, в лесу затих зеленый полумрак. Мокрые художники поснимали штаны и рубашки, превратившись в голых святых, и сушили штаны и рубашки над костром. Рыба поспела. Солнце зашло за землю. Лес потемнел. Искры от костра уходили к бледным звездам. Лес повторял ночь на безымянном озере. Друг Александр Васильевич налил первую чару. Певцами и запевалами оказались он да Алексей Иванович Ватагин — Ермолай. Они запели:

— Чарочка моя серебряная, на золотом блюде поставленная, — кому чару пити, кому выпивати?..

Художники обнесли друг друга песней и водкой. Сосны и ели на светлом небе казались и опрокинутыми в небо, и корягами со дна берендеева моря. Лица и голые тела людей были зеленоваты. Чарочка была повторена, от реки потек туман, алкоголь дополнял неясные очертания темного леса. Друг Александр Васильевич, босой, без штанов, в чужом пальто, вышел на полянку около костра, он махнул веткою калины, как платьем, он сделал крендель ногою. Он запел:

Уз-за лесикку, лесу темного  
Туту шли-прошли два молодчика...

Художники подхватили:

Ай люли, люли, два молодчика!

Художники стали в круг, взяли друг друга за руки, художники пошли по кругу.

Два молодчика, два холостеньких,  
Они вместе шли, поклонились!..  
Ай, люли, люли, поклонились!..  
Они врозь пошли, разбралися,  
Об одной душе красной девице,  
Ай, люли, люли, красной девице!..

Босой, без штанов, друг Александр Васильевич ходил посередине круга. Он начал прибаутошным кренделем, насмех помахивая калиною,— он заканчивал песню серьезно, идя по кругу хороводным ритмом, легко и красиво, забыв, что он и Пистон и без штанов. Женщин не было в товариществе. Целомудреннейшим жестом, на самом деле почти по-женски, Александр Васильевич хлопнул в ладоши, затанцевал.

Запели другую хороводную:

Как по чистым полям,  
По зеленым лугам,  
По зеленым лугам,  
Я по ним ходил-гулял,  
Я по ним ходил-гулял,  
Тоску-скуку растерял,  
Я рассеял грусть-тоску  
По зеленым лугам!..  
Уродилась моя тоска,  
Точно травка зелена...

Лес стоял древностью. Костер бросал в небо искры, дымил хвоей, разгонял комаров, спутывал дым

с туманом, уходил во мрак, в берендеевы закоулки сосен и елей, к волкам и лосям, попрятавшимся в этих лесах. Друг Александр Иванович Зубков, председатель, критик и чуть-чуть иронический человек, по прозвищу Борона, а также Литвинов, сидел на сваленной ели, покуривая махорку, посмеивался. Он запел как можно громче, чтобы его услышали:

Среди лесов дремучих  
Разбойнички идут,  
В своих руках могучих  
Товарища несут!..

Хор подхватил:

В своих руках могучих  
Товарища несут!..  
Носилки не простые  
Из ружьев сложены,  
И поперек стальные  
Мечи положены!..

«Разбойнички» выпили еще по чаре, обнеся друг друга песней и водкой, степенно и торжественно. Перебив песнь, художники ходили за хворостом, костер бросал пламя и искры до вершин, трещал, пахнул горячей хвоей. Пламя костра всегда таинственно. Художники стояли у костра. В костре сгорели мечи, разбойники и рыцари сотен сказок, написанных этими художниками. В июне заря с зарею сходятся. Наступила полночь. В полночь пел Дмитрий Николаевич Буторин, пел один, со слезами на глазах, под безмолвное внимание товарищей.

На заре туманной юности  
Всею душой любил я девицу.  
Был в глазах у ней небесный цвет,  
На лице горел любви огонь.  
Что пред ней ты, утро майское,  
Ты, дуброва-мать зеленая!..



Степь, трава шелковая,  
Заря, вечер, ночь волшебница,—  
Хороши вы, когда нет ее,  
Когда с вами делишь грусть-тоску.  
А при ней — вас хоть бы не было.  
С ней зима — весна, ночь — ясный день.  
Не забыть мне, как последний раз  
Я сказал ей, — прости милая...

Было ясно, что Дмитрий Николаевич вкладывал в эту песнь все свое сердце, а быть может, и судьбу, — он был холост и есенински-лиричен. Его слушали серьезно, примолкнув, притихнув. Костер отгорел, тлели лишь пни. В десяти шагах от костра, за соснами и елями, проходила зеленая ночь. Туман подбирался холодком, пахнул лес сосновою смолою, прелью, грибами. Деревья стояли неподвижны и безмолвны. Перекликались в лесу ночные птицы, и ныли около березок комары.

Светало.

Все это, рыбная ловля, ночь у костра, хороводы, песни — все это сотни раз написано и Буториным, и Зиновьевым, и Зубковым, и Бакановым, и Маркичевым, и Вакуровым, и Котухиным, и Чекуриным, всеми, золотая вязь костров и восходов солнца, темень лесов, разбойников и рыцарей, золотой рыбки и золотого петушка, темень и золото тоски, точно травка, зеленой, зари туманной юности, красной девицы, ай, люли, люли, красной девицы... Пьяных не было. Были счастливые люди.

Когда шли к Дягилеву и от Дягилева в Палех, Дмитрий Николаевич, он же Илья Федотович, сказал:

— А в стаде у нас, женщины говорят, бык коров сосет, — дела!

Возвращались в быт. Заговорили о женах.

— Опять «урядники» придираются будут.

Эпикуреец, с бородою больше, чем у Льва Толстого, истинный любитель природы, рассказчик поэмы о «красотах сельской жизни», которую он передавал звукоподражаниями, член коммунистической партии, седой юноша, художник, пишущий поэму социальной несправедливости и историю ссылки Герцена по «Былому и думам», друг Александр Васильевич Чуркин, по прозвищу Топор, сказал:

— Вот и хорошо в этих случаях для женщин радио,— нету дома мужей, есть кого послушать и чему поучиться,— они тоже не отстают от времени.

У палехской околицы, прощаясь тоекратным поцелуем дружбы, уговорились, чтобы жены, то есть урядники, не знали, где художники были.

— Молчок! — сказал таинственно Александр Иванович.

— Ни мур-мур! — так же таинственно ответил Дмитрий Николаевич.

— Точка! — подтвердил Алексей Иванович.

Наутро художники упорно работали до четырех по своим мастерским, до обеда с учениками, со «студентами», а после обеда, хоронясь друг от друга, писали свои чудесности на лаке и под лаком, творили золота и краски указательными пальцами, причем разводили краски на курином желтке, полировали золото и серебро коровьим, а еще того лучше собачьим иль волчьим зубом, писали сквозь лупы кисточками более тонкими, чем комариный нос,— обдумывали свои композиции и клали их на лак.

В Палехе жил изумленный народ, художники, мастера, изумленные всем, что происходит в мире и с

ними. Изумленными и праздничными ходили деды, которые по старости лет не принимали участия в общественной жизни, лишь критиковали, но, как восьмидесятидвухлетний отец Зиновьева, могли выпить рюмку водки и другую, покачать седую головой, поухмыляться, молвить: «Ишь ты, дела благодать!..» — Изумленными ходило старшее поколение мастеров, бывшие иконописцы, солдаты мировой войны, красноармейцы, спугнутые с векового своего промысла и сейчас — художники. Изумленными ходило второе поколение художников, Баженов, Каурцев, Турин, Солонин, Солобанов, Баранов, которые в двадцать втором году затруднялись решить, что лучше — искусство или валянье валенок. Не изумлена только молодежь.

На самом деле лошади в этом селе похожи на голиковских коней. На самом деле колхозники в этом селе становятся художниками, а некоторые художники, особенно их жены, мечтают о колхозе. На самом деле женщины здесь и в праздник, и в будни ходят с брошками, написанными их мужьями и братьями, причем на брошках изображены олени и лани, песни и сказки. Самое общеупотребительное слово здесь — искусство. Дети с трехлетнего возраста играют здесь в искусство, — родившиеся уже с пальцами художников, от рождения умеющие держать кисточку.

Сто лет тому назад и тридцать лет тому назад одни из палешан приходили в искусство, другие уходили из него — в овчинники, в сапожники, в портные. Хлебопашество не прокармливало. Отец Аристарха Дыдыкина, художника, необыкновенно сочетавшего в своих лаках Врубеля, средневековых персов и Микель-Анджело, был хлебопашцем и голодал; Аристарх Дыдыкин, с шести лет начав учебу, полу-

грамотный человек, двадцать лет работал иконописцем, до революции, до артели; дети Дыдыкина, — троє сыновей — учитель, землемер, командир роты. Чикурин, малограмотный человек, сын иконника, грамоте обучавшийся у николаевского солдата, — его сыновья — учитель, комиссар полка, инженер-технолог, врач. Буторин, малограмотный человек, холостяк и солист зари туманной юности, — его две племянницы — учительницы в Палехе, живут вместе с ним и почтительно называют его дядюшкой. ♪

Так у всех художников. Так во всем селе.

Патриарх Салапин, старейший житель Палеха, старый до древности, говорил Сергею Ивановичу:

— Спрашиваете вы, почему мы раньше иконы писали? — ввиду нашей доходности...

Салапин знал, что иконописное мастерство у Палеха существовало и в семнадцатом веке, и раньше, и больше ничего не знал об этом. Он лучше знал, что Палех принадлежал помещикам Бутурлину и Грязеву, помещики держали палешан на оброке, в иконописные дела их не мешались. Бурмистрами у Бутурлина был род Сафоновых, феодальных владельцев Палеха, иконо-фабрикантов, обстроившихся в Палехе каменными домами и фабричными мастерскими-казармами палехской иконописной мануфактуры. Салапин не знал архивных записей. Господа и графы Бутурлины жили в Москве. В Палехе жили старосты и бурмистры — Сафоновы, Ноговицыны, Вакуровы. Господа Бутурлины писали бурмистрам в деревню «указы»:

«...старосте нашему такому-то. По получении сего указа смотреть бы вам над крестьяны нашими накрепко и содержать в страхе... ежели меж крестья-

ны нашими какие случатся ссоры, разыскивать и виновным чинить наказания — бить батоги, не описываясь к нам, и недопускай к нам напрасной доуки»...

Бурмистры пороли, арестовывали, сажали на цепь, штрафовали отбором имущества, сдавали в солдаты.

«... Жители одного села упражняются более в иконном греческом письме, а написанные иконы в нарочитом множестве отправляют для продажи в разные города... В этом селе, кроме еженедельных торгов по средам, бывает годовая ярмарка сентября четырнадцатого дня...»

Палешане платили подати бурмистрам натуральной повинностью, подушными и поземельными сборами, сборы с девок по достижении ими совершеннолетия и со вдов, за покупку на ярмарках лошадей. Бурмистр Сафонов по «реестру оброку за первую геньварьскую половину 1847 года» заплатил 55 руб. 50 коп., да «с него же за дочь оброку принято 2 руб. 10 коп.». Революция 1917 года отобрала у Сафоновых шесть миллионов рублей. Этого Салапин не знал. Салапин помнил, как лет за пять до реформы Александра Второго господа Бутурлины поссорились с господами Грязевыми, бывшие до ссоры в дружбе, и, поссорившись, межевали немежеванные палехские свои владения упрощенными способами: солнечная сторона отходила Бутурлину, северная — Грязевым; крестьяне, расписанные между Бутурлиным и Грязевым, жили и направо, и налево; во един дух было проведено межевание и во един дух все бутурлинские были вселены в избы направо, а

грязевские — налево; иные крестьяне, выселенные из лачуг, оказались в пятистенках, иные из пятистенков оказались в лачугах. Салапин знал, — Салапин по своему определял слово — «иностранец»; по его понятиям «иностранец» — это каждый, кто не родился и не живет в Палехе, — Салапин помнил, как приезжал в Палех в семидесятых годах «иностранец» генерал Филимонов набирать мастеров помимо Сафонова для реставрации Грановитой палаты, поручил этот набор мастеру Белоусову, и Белоусов с тех пор пошел в гору, став конкурентом Сафонова.

Сафонов был старшим и консервативнейшим, он придерживался «старого стиля», византийско-новгородско-суздальско-ярославского. Белоусов был расторопнее, помоложе, менее авторитетен и денежен, и он больше придерживался «фряжского стиля», европейских влияний, сходного рынка. И Сафонов и Белоусов, деды, отцы и внуки, были малограмотны, в совершенстве зная свое ремесло, русскую икону, ее эпохи и стили, в этом деле являясь непреложными экспертами для Кондакова и Забелина. Деды, отцы и внуки, повторяя ивановских фабрикантов, ходили в поддевках, ели пироги и пили водку, красноносые, разъезжали по всей России на заказы, но проживали в Палехе, в каменных домах с собаками у ворот и с откормленными любовницами. Один единственный из них, младший Сафонов, за взятку, будучи совершенно неграмотным, получил звание народного учителя, чтобы освободиться от воинской повинности. Построил в селе Красном церковно-приходскую школу и нанял вместо себя учителя, оставив за собою пост заведующего школой. Сафонов состоял в чине «потомственнейших почетных граждан», и «поставщика двора его величества», в силу чего на доме

и на мастерских — для страху — наклеены были во множестве громадные, золоченые двуглавые орлы. Октябрь Семнадцатого отобрал у Сафоновых шесть миллионов рублей, скопленных на богописании, причем неграмотные Сафоновы, оказывается, в капитализме были обучены отлично и держали свои миллионы не только в российских, но в лондонских, парижских и берлинских банках.

И все теперешние художники, старшее поколение, от шестидесятипятилетнего Баканова, прошли одну и ту же школу у Сафонова и Белоусова, этот изумленный народ, замечательный, кроме всего прочего, замечательным своим здоровьем. В девятилетнем возрасте накруг — каждого из них привела мать к хозяину поклониться в ноги и — с кулечком пряников — отвела к приказчику.

Приказчик роздал пряники другим подросткам, и мальчик стал учеником. Летом с пяти часов утра до десяти вечера, а зимою с семи утра, но также до десяти, мальчик, прикрепленный к мастеру, — учился. Первым уроком он должен был нарисовать «голичку», «ручку господню», затем эту же ручку, сложенную в щепоть, затем эту же ручку с плеткой (символ учения!). Учились разделявать яйца, — и учились «творению» красок. Изучали книгу «бездатала». Обучившись рисованию карандашом и копированию, переходили к работе «поднож», к рисованию красками. Писание икон было стандартизовано и расчленено. Мастера разделялись на личников и доличников, на левказчиков и чеканчиков, — то есть одни мастера умели заготавливать доски для икон, другие писали «лики», третьи писали одеяния святых и их местонахождение — землю с обязательными лещадками (то есть «кремешками», то есть с

иконными горами), храмовые постройки, небо, облака и море, «палатное письмо» и «воздуха», четвертые — чеканчики — обрамляли икону в золото. И мальчик учился быть личником, доличником или чеканчиком. Мальчик скоро узнавал, что богоматерей — триста тридцать: «животворящий источник», «троеручица», «неопалимая купина», «нечаянная радость», «неувядаемый цвет», «помощница в родах», «размягчение злых сердец» (четыре богоматери — размягчительницы, четыре разных «лика»), — что без малого такое же количество спасов, вплоть до «спаса мокрая борода», чудотворца. Мальчик скоро узнавал боль плетки, им же изображенной на третьем уроке богописания и всегда носимой приказчиком за пазухой, — что каждую богомать и каждого спаса надо — точнее, только — копировать, ибо отхождение от святого стандарта считалось богохульством. Мальчик показывал свою работу мастеру, но по субботам все работы мальчиков просматривал приказчик, — происходил «показ», — и мальчик знал, если приказчик отложит в сторону его работу, не вернет ее сразу, после «показа» осмотра икон мальчик будет порот, — на всякий случай по субботам мальчик надевал вторые крашенинные штаны и в штаны засовывал фартук, чтобы легче переносить порку. Мальчик знал, что в июне, вместо иконописания, приказчик пошлет его по ягоды для хозяина, по землянику с черникой, по гонобобель, по малину; что в сенокос он будет ворошить хозяйское сено; что, подросши, он будет пасти хозяйских гусей, бегать мастерам за водкой, убирать после мастеров мастерские. И так будет продолжаться шесть лет. Но за эти шесть лет мальчик пересмотрел тысячи рисунков, и византийских, и русских, и



новгородских, и ярославских, и фряжских, видел краски двенадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого, восемнадцатого веков, видел композиции одного из необыкновеннейших человеческих искусств, пусть умершего, но прекрасного в своих первоисточках до сих пор,— мальчик научился их видеть и через них видеть вещи на земле; мальчик научился творить краски и познал законы красок двенадцатого, пятнадцатого, семнадцатого веков; мальчик познал рисунок и композицию этих же веков; мальчик узнал законы обратной перспективы, «секрета» иконописной прелести; мальчик обрел умение в древнейшем искусстве, в древности своей соприкасавшемся с истоками народного творчества. Мальчик видел феодальную нищету и узнал, что богоматерей триста тридцать, еще до того как он пошел в жизнь, научившись делать богов, увидел, как они делаются, услышал истории о попах и монахах — мальчик уже не верил в православного бога.

А на конец шестого года обучения хозяин давал ученику залевкашенную доску; ученик, если он был доличником, расписывал эту доску святым или святыми по его усмотрению; эту доску дописывали «ликами» и чеканили другие мастера; эта икона называлась «выходною»; она шла в собственность ученика, она была экзаменом,— ею хозяин благословлял ученика в жизнь. И тогда хозяин «клал» ученику жалованье — десять или пятнадцать рублей в год, а иной раз «держал» его за блин или за пехтуха.

Ученик делался мастером и писал у Сафоновых или Белоусовых по зимам на иконофабриках,— «ввиду нашей доходности»,— как определил патриарх Салапин,— а на лето уезжал «в отъездки» рас-

писывать монастыри и соборы — сотни монастырей и соборов — в Москве, во Владимире, в Кимрах, в Муроме, в Костроме, в Самаре, в Сарове, в Бийске, в Томске, в Киево-печерской лавре, в Троице-сергиевской лавре, в Ипатьевском монастыре (в том, откуда на русский престол пришла романовская династия, закончившая свое существование в Свердловске, в подвале Ипатьевского особняка), то есть через монастыри и монастырский быт иконописцы создавали себе представление о жизни и о России, заставлявшие не верить ни в чорта, ни в бога.

Это были ремесленники, кустари-отходники, ремеслом которых, как у скорняков кожа, была икона.

Это ремесло через безграмотных Сафоновых и грамотнейшего Кондакова проникло и в Успенский собор в Московском кремле, и в Грановитую палату, до трона Мономаха, до имперских и императорских столпов и реликвий.

Это ремесло учило Васнецова и Нестерова.

Но сами кустари, возвращаясь на побывку к себе домой, где матери и жены вели крестьянское хозяйство, иконописный промысел для коего был подспорьем, — мастера жили бытом русского кустаря-отходника «ввиду доходности», никак не сопоставляя себя ни с Кондаковым, ни с Васнецовым, ни с Нестеровым, — за исключением немногих, которых «пленила игра красок», по определению Голикова. Мастера не подозревали о знании и умении, коими они обладали. Они никак не подозревали, что Васнецову, Нестерову и академику Харламову надо было у них учиться.

Мастера были во власти двуглавых золоченых орлов «гражданина двора его величества» Сафонова

и сафоново-белоусовских иконописных фабрик. Они могли уйти от Белоусова к Сафонову и обратно, и только. Они жили в «язычестве», то есть в доносах и шпионстве приказчиков. Мастера были безымянны, они не подписывали своих работ,— за них подписывался «гражданин двора».

И кое-где в погребах или в лесу, или под сараем хранится замечательный палехский клад, который оказался бы прекрасным вкладом в Палехский музей,— девять пудов революционной подпольной литературы Пятого года, собственность тогдашнего, по времени совпадавшего с Талкой, палехского подпольного революционного кружка. В этом кружке принимали участие иконописцы — ныне заслуженные деятели искусств друзья Александр Васильевич Катухин и Иван Васильевич Маркичев, ныне московский большевик и директор института силикатов Александр Никитич Вицин, член ВЦИК 14-го созыва, палехский большевик, член правления Товарищества, художник и друг Александр Васильевич Чикурин и его брат Алексей, братья Зубковы, председатель Александр и насмешник, поэт и француз Иван, Иван Колесов, большевик и художник, написавший в подарок Конгрессу защиты культуры «Гаврилиаду», Салапин, Хохлов, Михаил Комаров, Свинцов, Корин (один из тех, кои создают себе славу художников в Москве) и другие — до тридцати человек.

Они собирались по лесам, чтобы учиться. В белоусовской мастерской они самообложили друг друга двумя процентами заработка и выписывали газеты, журналы и книги.

Александр Зубков и Александр Катухин в отъезде, под Самарой, в селе Мусорки, хранили под цер-

ковным куполом винтовки революционеров и принимали участие в том, как крестьяне, закрыв церковь, голого изгоняли из села священника.

Сафонов изгнал из своих мастерских сорок человек рабочих, в окнах дома поставил железные решетки, а также с того времени ввел десятичасовой рабочий день. На «засидках», десятого октября, когда мастерские переходили на зимние работы, то есть в мастерских зажигали по вечерам свет,— по традиции в этот вечер мастера собирались с хозяином Белоусовым поспрашивать и выпить,— на засидках мастера отказались пить с хозяином, предложив ему на праздничек восьмичасовой рабочий день, новые расценки, специально уборщиков в мастерскую (вместо учеников, которые убирали за мастерами),— Белоусов кряхтел над приготовленными яствами и водкою, хотел дело свести на шутку, но кончил десятичасовым рабочим днем и уборщиком, и даже тем, что выписал для мастерской «Сельский вестник», «Живописное обозрение», «Ниву», «Родину» и «Родную речь».

В час освящения нового реставрированного иконостаса в палехской церкви, сделанного Белоусовым в пику Сафонову,— ровно в этот час на палехских заборах повисли карикатуры, написанные палешанами и предварительно заготовленные, со страшными рожами Белоусова, Сафонова и того самого губернатора Леонтьева, у которого были сердцебиения от Красной Талки. Друг Дмитрий Буторин, человек с зари туманной юности и фламандец, тогда подростком, голопятый бегал по селу с прокламациями. В ту ночь, когда пировали хозяева, губернатор, духовенство и пристава, в каравайковском подвале работал шапирограф. Салапин и Лапин печатали листов-

ки к церковному торжеству. С этими листовками и бегал голопятый Буторин. Михаил Комаров в ту ночь, с ведерком краски, караулил ночную темноту. На только что освещенном храме он написал громадными литерами: «Долой кровопийц попов!» — на воротах белоусовского дома, где пирувал губернатор, а заодно и под орлами Сафонова, он написал: «Долой эксплуататоров!» — на казенной винной лавке он написал: «Долой самодержавие!» — следы краски, капавшей с ведерка, на рассвете ж привели исправника в избу Комарова. Михаил был арестован, был бит полицией в тюрьме до кровохарканья, осужден на три года и захворал туберкулезом, от коего и умер. В тюрьме он написал картину, — раненый в грудь человек поднимает обессиленную голову навстречу путнику, путник протягивает раненому флягу с водой, рядом с путником стоит покорный осел, а кругом — одинокая пустыня. Комаров умер от туберкулеза. Эта картина хранится и висит на почетном месте у друга Ивана Ивановича Зубкова.

До сих пор у изумленных художников идет спор о том, приезжал или не приезжал в Палех на подпольное партийное собрание Михаил Васильевич Фрунзе. Одни утверждают, что был. Другие, — что должен был быть, но не доехал. Что же касается товарища Грачева, секретаря Совета рабочих депутатов Талки, — он приезжал в Палех.

И каждый раз, когда чарочка заходит за полночь и за хоровод, изумленные художники вспоминают о Пятом годе и упорно гадают о том, куда же на самом деле запрятан клад библиохранителем Николаем Лапиным, — как бы хорошо было б этот клад найти, перечитать, вспомнить юношеские годы бодрости и

дрожи сознания и сердца, которые были при первом чтении этого клада. И Александр Зубков тогда рассказывает, шопотом до сих пор, как он вез часть этого клада из Самары:

— В Рязани на станции был осмотр багажа. Когда очередь дошла до нас, то сын хозяина показал документы, в которых значилось, что мы едем с росписи храма и что багаж наш состоит из красок, золота и священных книг. Хозяйский сын и не подозревал, что он везет. Нас и обыскивать не стали. И всю литературу мы довезли в порядке, а по приезде я сдал ее в нашу библиотеку... Вот как случилось!..

Богомаз и чеканщик Александр Никитич Вицин от Пятого года остался в партии в подпольи и сиживал по тюрьмам. Вороном он обходил Палех, ибо в палехском волостном правлении лежала «грамота» о немедленном аресте и препровождении куда следует беглого «каторжника». В Семнадцатом вместе с Фрунзе в Шуе Вицин организовывал Красную гвардию...

Само собою подразумевается, что иконописцы вместе с монахами знали религиозную кухню, чему удивляться не полагалось. Само собою разумеется, что пили иконописцы вместе с монахами, изоцряясь в качествах настоек на черносмородиновом листе или на черносмородиновой почке (что лучше?), и, напиваясь почечными настоями, говорили «по душам», — о делах и «о бабах». Дела монахов — это богослужения, чудодейства, мощи. Был случай, пил богомаз водку с иеромонахом для разнообразия в священной пещере, за стол приладив раку с мощами, а, опившись, раку вскрыли и в ней, кроме прочего, нашли коробку из-под килек и пу-

стые бутылки, явно оставленные предшествовавшими пьяницами. А «бабы»,— в домашнем просторечии монахи не назывались Пафнутиями или Варахиалами,— но жеребцами. Прежде чем войти к монаху в келью, надо было сказать,— «молитвами святых отец наших, госпoде Иисусе христе наш, помилуй нас!»— и если монах не ответит «аминь», войти к нему нельзя: либо опился, либо «с бабой». Монашеские женщины жили в соседних слободах. Купчихи и вдовы-мещанки приезжали в монастыри, чтобы насладиться богом и монашеской плотью. Иных совращали «божиим видением» и велением. Иных заманивали в келии с исповедей. Многих насиловали. В Палехе был мастер Шишкин, Иван Дмитриевич, отличный иконописец; он был нанят Троице-Сергиевской лаврой в лаврские иконописные мастерские мастеров — учителем; он поехал в лавру вместе со своей семьей; девятилетняя его дочь пошла однажды в монастырскую трапезную за хлебом и была изнасилована монахами. Занимались монахи играми, не переносимыми на бумагу, от опоя, от сытости, от безделия, рядились у себя в келиях в женские панталоны, изображая из себя гризеток. Женщин монахинь звали «божьими свинками». Женская судьба и в монастыре была тяжелей и обездоленней, чем мужская,— по тогдашним традициям. Если большинство монахов шло в монастырь по лености, по неудачничеству, по моральной дефективности, на даровые хлеба,— во всяком случае шли по своей воле,— то подавляющее большинство женщин были сосланы в монастыри другими людьми, обетами отцов, выброшенностью из среды жизненной неудачей и горем. Оказывается, по палехским впечатлениям, монахинь надо было, говоря по существу,— насило-

вать. Иконописцы влюблялись в послушниц, послушницы влюблялись в иконописцев. Через старух послушницы присылали иконописцам туфельки для часов, салфеточки, махорошники — и записки. Через старух же иконописцы посылали послушницам стихи, изображения женских головок своего мастерства и — мольбы о свидании, выйти погулять хотя бы на кладбище или в рощу, хотя бы на минуточку, чтобы глянуть единым глазком. И если монахиня вышла в рощу, ее следовало насиловать, в силу крайности того положения, что они давали обет богу быть христовыми невестами и никогда на словах не согласятся, а без слов бывают очень довольны. Монахини пахнули ладаном, — монахини выходили в рощу, — и на второй, на третий раз иконописческие носы устанавливали, что к ладанному запаху примешивался запах одеколона, — иконописцы понимали, что этот запах приносился для них. Иконописцы не понимали убожества человеческой юдоли!..

В Палехе жил иконописец Шишкин, Иван Дмитриевич, отличный мастер: он был нанят в Троице-Сергиевские лаврские иконописные мастерские; у него изнасиловали дочь; были свидетели; он судился с монахами и с лаврой, — и он же оказался перед всей иерархией судов виноватым, и осужденным, и изгнанным из лавры в позор и в нищету. Об этом иконописцы очень хорошо знали. В Киево-печерской лавре, однако, имелось, оказывается, кроме пещер с мощами, доступных обозревателям, и кроме танцевальных пещер, так скажем — пыточная пещера; в этой пещере пытали непослушных, в том числе и монахов, в том числе и — женщин, в том числе и детей и на дыбе, и подноготной, всеми средневековыми способами; иные в этой пещере жили по годам



на цепи, на цепи и умирая; почва приднепровских гор, в которых нарыты пещеры, имеет свойство мумифицировать человеческие тела,— но к этой пыточной пещере приставлены были и специалисты по выделке мумий; в этой пещере производились мумии и тех мужчин и женщин, которые в этой же пещере были замучены; мумии шли на мощи. Об этом иконописцы знали хорошо! Их ремесло было прицерковным, примонастырским ремеслом.

Их ремесло, через безграмотных Сафоновых, грамотнейшего Кондакова и просвещеннейшего Забелина, проникало к столпам империи.

Их ремесло учило Васнецова и Нестерова.

Это иконописцев не касалось, они были безымянны. Иконописцы знали, что Сафонов, Кондаков, Лавра империи — одно и то же, столпы, с которыми — не судись, как посудился Иван Дмитриевич Шишкин,— от которых прячь клады, как спрятан клад библиотеки, клад Пятого года, ровесник Талки.

*«... И Капабланка, конечно знает больше шахматных правил, чем молодой шахматист,— для того, чтобы пользоваться ими, и для того, чтобы разрушить их»...*

В Палехе пили встарину, пили жестоко и остервенело, как могли пивать только россияне и российские кустари. Но в Палехе пили больше, чем в Туле, потому что палешане были отравлены «игрою краски» и не веровали ни в бога, ни в чорта, по причинам понятным. Это было злое пьянство. В Палехе даже пословицы свои сложили: — «Делами займешься,— пьянство упустишь».

Неистовый и изумленный Голиков писал в «Трибуне Палеха».

«...Наши отцы, деды и прадеды всю жизнь писали иконы и производили живописную отделку храма. Кисти и краски передавались от поколения к поколению. Иконописное дело для большинства из нас являлось, как выражаются, насущным куском хлеба. Работа по заказу хозяина ограничивала наши творческие порывы. За свою жизнь приходилось писать сотни раз одного и того же Николая-чудотворца. Вложить в лиф святого что-нибудь от себя — это рассматривалось как богохульство. Работа сводилась к трафарету, без всяких художественных затей. Правда, были из нас и такие, которых игра красок увлекала за пределы икон и церквей. Такие вдохновенные художники считались неудачниками. Злясь на свое бессилие и не получая ниоткуда поддержки, они часто успокаивали себя вином и спивались!!!»

Такого пьянства нет больше в Палехе.

За орлами «потомственного почетного гражданина и поставщика двора его величества» Сафонова, бывшего крепостного бурмистра у барина Бутырлина, за столпами империи, — полубожественные полупролетарии — или спивались, пораженные игрою красок, или возлелеивали мечтишки обернуться по-сафоновски, разжиться, стать хозяйчиком, — так возникали, всплывали по-тогдашнему, наверх Коровайковы, Парилковы, Солоутины, — но неграмотные Сафоновы, грамотно хранившие свои капиталы в Лионском кредите и в Лондон-сити-банке, умели этим,

высунувшим голову, дать как следует по башке, чтобы они опять сваливались в нети, а за нетями в водку.

И российская история пришла в Семнадцатый год.

Изумленный Голиков писал в «Трибуне Палеха»:

«...мы, художники-иконописцы, оказались в пиковом положении... Многие безнадежно махнули рукой на художественное ремесло и считали его похороненным навсегда. Но я не верил в это и часто думал так: «Неужели мы, со своими кисточками и красками, не можем быть полезными для трудовой власти?» — И вот, стал я присматриваться. Многое изменяет советская власть. Буржуев сажает в тюрьмы, конфискует их имущество, а художественные музеи не трогает. К тому же, вижу, появляются новые картины и плакаты. Из этого я заключил, что искусство, значит, у коммунистов в почете. А где наше место в революции — я долго не мог его определить»...

Голиков расписывал декорации в Шуе и Кинешме. Баканов, Зубковы, Зиновьев — пахали. Буторин председательствовал в комитете бедноты и писал за картошку портреты по окрестным деревням. Чикурин плотничал и писал портреты. Ватагин служил весовщиком на Пермской железной дороге. Александр Зубков побывал в австрийском плену. Голиков побывал в Красных гвардии и армии. В императорской армии были все.

Никто не может точно упомянуть, в декабре ль двадцать второго года, или в январе двадцать третьего, изумленный Голиков в Москве в поисках

работы увидел в Кустарном музее федоскинские лаки, роспись на папье-маше на коробочках.

«Уцепилась у меня мысль за эти коробочки. Думаю: «Вот бы нашим палешанам суметь такие штучки откалывать, все бы сыты были и вздыхать бы перестали!» — Разыскали мы с товарищем заведующего музеем и стали говорить по поводу сырья для пробы. Но когда он узнал, что мы бывшие богомазы, он и говорить с нами не стал!»

У приятеля Голикова нашлась фотографическая ванночка из папье-маше. Голиков обрезал края этой ванночки и на дне ее золотом и серебром написал много различных птиц и зверей. Голиков понес это дно в Кустарный музей, в тот, что в Москве на Леонтьевском. Мастерство Голикова смотрело со дна фотографической ванны — мастерством, красотой и умением. Это дно ныне хранится в музее, как драгоценность. Это дно оказалось фундаментом Палехского товарищества художников, пять членов которого, и в том числе Голиков, носят звание заслуженных деятелей искусств Советского союза. Это дно породило Палехский музей, где висят похвальные листы и свидетельства о золотых медалях со всего земного шара. Это дно породило тринадцатого марта тридцать пятого года десятилетний юбилей палехского искусства, когда на самом деле палешанами за десять от Семнадцатого года сделано для искусства больше, чем за три столетия от семнадцатого века.

В дни палехского юбилея в Москве нельзя было достать билетов до Иванова и до Шуи. Вагоны поездов превращались в клубы искусств. На станциях

Иваново и Шуя висели плакаты, приветствовавшие делегатов, на вокзалах ждали автомобили и автобусы, которые пошли по шоссе, сделанному специально для Палеха, — до Палеха, который к юбилею превращался в районный центр. В город-село приехало несколько сот делегатов, телеграф принес несколько сот телеграмм. Торжественное заседание открывал нарком Бубнов. Был голубой от солнца и снега день необыкновенного народного веселья, которое, начавшись морозным рассветом, длилось двое суток, когда двое суток под ряд люди не ложились спать. Кроме приехавших со станции, на праздник приехали на развалежках и пришли пешком соседние деревни и села. С утра над селом летали три аэроплана, которые сначала разбрасывали первый номер «Палехской трибуны», а затем поднимали в воздух знатнейших палешан. По селу гремели духовые оркестры. Когда аэропланы садились на землю за слободой, в тот день переименованной в улицу Голикова, соседние овины проваливались под сотнями ног стара и мала. Карусели бесплатно катали детишек. Ларьки раздавали книжки и сладости. На площади под аэропланами устраивались рысистые колхозные состязания, и народ поражался конями Майдаковской колхозной конефермы. Правительство РСФСР, поздравляя юбиляров, сообщало о субсидии в сто тысяч рублей на организацию техникума. Правительство области свидетельствовало, что если месяц тому назад Палех превратился из районного села в районный центр, если до прошлой осени в Палех можно было пробраться только на первобытной телеге, то — через два года Палех будет прекрасным и подлинно социалистическим городом. Содержание празднеств и заседания транслировалось через Мо-

скву, через рацию Коминтерна всему миру, передаваемое из палехского Дома соцкультуры. И был бал сразу в двух домах, где чарочка смешивалась с заморскими винами и с джазом, впервые здесь звучавшим.

Двое суток в полном изумлении не спало село Палех!..

Целый день нарком Андрей Сергеевич Бубнов и член ЦК ВКП(б), секретарь Ивановского обкома Иван Петрович Носов, и член ВЦИК, председатель Ивановского облисполкома Сергей Петрович Агтеев ходили по домам художников, а художники угощали их студнем, грибами, чаем, пирогами и вареньями.

Целый день навсегда изумленный и неистовый Голиков в окружении жены и детей выступал с речью. Черные его изумленные глаза бегали по потолкам и под столы, застревали в усищах, наполнялись наивностью и таинственностью,— дыхание мешало словам, словам помогали глаза и руки,— и он говорил, никого не слыша:

— Гениальный Пушкин, конечно, и гениальный Голиков... Голиков,— то есть я, хотя меня прозывают Таракан, как рябинка в поле. Осенью рябинка красная, лист пожелтел и во всем лесу простор и тишина, как у гениального Пушкина... Конечно, гениальный тоже Некрасов... Голиков, то есть я, берет букет полевых цветов, смотрит на него и рисует свои битвы, поэтому кони у Голикова бывают красные, как гвоздики, либо как василек,— и получается букет жизни... А детей у Голикова семь душ, а во всем доме нет ни одной кровати, и я, то есть Голиков, Таракан по прозвищу, как рябинка в поле!..

От юбилея в Палехе остался Музей палехских работ. Красным неистовством по музею мчатся голубые и красные голиковские кони. Правительство области дало Голикову девять кроватей и сему соответствующее количество одеял, простыней, полотенец, столов и стульев,—голиковская изба превратилась в лазарет небывалого вида. Правительство области перед юбилеем присылало в Палех за Голиковым автомобиль, чтобы отвезти Голикова в Иваново к портному, дабы был и у Голикова настоящий пиджачный костюм; когда автомобиль приехал за Голиковым второй раз, чтобы свозить на примерку, Голиков не поехал, заявив, что, мол, «пушай на ком-нибудь примеряют, а мне некогда, я делами занят!..» — Голикову все же сшили этот костюм, он раздобыл к нему смазные сапоги. Всегда рядом с Голиковым ходит его жена. Всегда Голиков с детьми. Ни в одной своей речи он не забывает о них, о жене и детях, отличный семьянин. Когда Голиков работает, он работает сутками. Когда Голиков получает из товарищественного горта сахар, он не рассыпает его по стаканам иль чашкам, не рассыпает по мелочам, но всыпает сахар в самовар и пьет чай всем родом. Семь раз Голикову товарищество покупало корову, и семь раз получалось одно и то же, а именно, когда корова надоедала Голикову и его жене, он резал корову и целую неделю под ряд дымилась тогда голиковская труба, ибо Голиковы поедали мясо. Голиков так записал о себе:

«...гулянка, хоровод, пляска. Virtuозность во время пляски парня или девки. В отдаленности где-то гармошка. Запечатлеваю отголоски: какое настроение. Выгон скота — утром, вечером — игра

пастуха в рожок. Базар. Рыбная ловля. Пьяная компания, сам в ней. От настроения слезы катятся. Детские игры. Бедность действительных бедняков, а не притворных. Зимние вечера, когда поет жена. В особенности много «троек». Люблю писать лихие тройки. Даже набрасываю рисунок, когда поет жена: вот мчится тройка удалая вдоль по дороге столбовой. Много написано битв, потому что сам был участником боев, и видя кавалерийские атаки и битвы, пожары городов, деревень, ужас беженцев, детей, стариков— все писал».

Изумленный Голиков изумителен, конечно. В музее, под стеклом витрин, собраны его «Слово о Полку Игореве» — кони и битвы. Откуда у человека такая изумительная энергия красок и энергия движения? — пусть от иконы семнадцатого века остались «лещадки» курганов, «воздуха» и «палатное письмо» плача Ярославны, — ведь это ж брат Матисса!.. но как же тут же Голиков подсмотрел Микель-Анджело? — но тут и Рафаэль?.. — но как же, как же тут же копия из «Нивы», перекрашенная Голиковым по гениальности!? — обязателен ли здесь закон о плагиате? — сюжет — заимствован всегда, или только такая традиция вежливости и просвещенности — уверения, что все это сделано по Пушкину, по Баяну или по песне? — это — необыкновеннейший консерватизм, такой необыкновенный, который в силу самого себя, то есть консерватизма, разрушает все каноны?.. — Нет, конечно, это — не Рублев, не Анджело, ни тем паче Рафаэль, и не Матисс, никак. Это — Голиков, который сам по себе, которому закон написан им самим. Какие серьезные и деловые физиономии у голиковских коней!..



*«... а актер, если он кричит петухом, приводит детишек в изумление, но если детишки установят, что кричит петухом не актер, а самый настоящий петух у актера под столом, детишки актера презирают, ибо актер обманул искусство»...*

Но Голиков — не академик, никак, и не учитель. Если Голикова разложить на элементы, то «Нива» заслонит и Рублева, и Матисса. А в Палехском музее есть академик, точнее академист — Павел Львович Парилов; у Парилова ничего не осталось от русской иконы, у него нету даже «палатного письма»; он — «фряжец»; он пишет лермонтовского демона; и он — брат академиков Егорова и Моллера; он совершенно реален так, как понимали реализм академисты; законы заимствований ему известны, он их обходит; законы элементов живописи им изучены; и Парилов — олеографичен, он напоминает — не Палех, но — Лукутина, кроме Моллера и Егорова.

В Палехском музее ощущение сквозняка веков и их неистовства, и уменья, и восхищение талантами идут никак не только от Ивана Голикова. Заслуженный Баканов, Зиновьев, Ватагин — энциклопедисты, хранители палехского «стиля» и традиций Рублева, Фрязина, Ушакова и Чирина, знатоки законов русской иконописи от Византии; Баканов и Ватагин пишут демонстрацию; Баканов пишет «Индустиализацию сельского хозяйства»; Ватагин пишет встречу челюскинцев во Владивостоке; а Зиновьев пишет «Историю земли» от космоса до мамонта, до наших дней социализма, пишет Москву-порт; и по лакам этих энциклопедистов прошло иконописное

умение от одиннадцатого века, от дней Андрея и Всеволода Боголюбских. Баканов фряжскую живопись сочетает с новгородцами. Заслуженный Вакуров сочетал в себе пятнадцатый иконописный новгородский век и Врубеля. Но Врубель же, и Микель-Анджело, и персы — у Аристарха Дыдыкина. То ли из Византии в Персию, то ли из Персии через Византию в Русию, — но персов очень много в Палехском музее, и заслуженный Котухин в Палехе вдруг реставрировал и оживил из мертвых средневековую персидскую миниатюру, шестнадцатый-семнадцатый века, и Хазов большой перс, чем заслуженный Котухин. А за Персией — центральная Азия, Индия, Китай, века. Но в этом же музее заслуженный Маркичев — и Перуджино, и ранний Рафаэль, до Афин. И здесь же красновато-коричневый, суховатый, поджарый фламандец — Буторин. И здесь же живописнейший Иван Зубов, француз, Клодт Лоррэн семнадцатого века. Фрагонар восемнадцатого, — тон, пространство, воздух, — хоть сам Зубов ни Лоррэна, ни Фрагонара не видал и убежден, что нету лучше Рафаэля, которого видел на фотографии!..

Нет, икона, производившаяся «гражданином поставщиком», разбита вдребезги, от нее осталось очень мало, — из нее родились лак и золото. Второе поколение — Баженов, Каурцев, Турин, Солонин, Солобанов, Баранов — они не только не похожи на икону, но они не похожи и на старшее поколение, — график Баженов, выдумщик и стилист Каурцев, живописцы Баранов и Турин, причем Турин — и Малавин, и почти современный француз.

Русские иконописцы от Византии, оказывается, пользовались приемом, который лет тридцать тому назад был преподан французскими наилейшими

художниками, как последнее слово живописных открытий, в России им пользовались бубнововалетцы, — законом обратной перспективы; в Палехском музее хранится работа — младшее поколение — Баранова, написанная от Пушкина, «Кавказ подмною»; она написана на самом деле — от Пушкина — законами обратной перспективы, — то есть художник на своих квадратных сантиметрах лака создал перспективу, когда действие разворачивается и показано от Пушкина, когда зритель не Пушкина видит в перспективе на вершине горы и над облаками, но когда перспектива, и облака, и горы видны от Пушкина. Солонин — младший — написал «Женитьбу Фигаро», колоннада — пятнадцатый век, Флоренция, капелла Пацци, мастер Бруноллески; орнаментация колонн — Франция восемнадцатого века; фигуры музыкантов — Ватто; характеры, костюмы, головные уборы — французы и фламандцы восемнадцатого века, Ван-Дейк в частности; Солонин порылся в книгах!..

В музее хранится копия иконы семнадцатого века, написанная заслуженным Бакановым — святые Борис и Глеб, в музее хранится подлинная икона восемнадцатого века, — акафист спасителю, в музее хранится работа заслуженного Котухина — «Сказка о царе Салтане»; Борис и Глеб побывали не только на двух иконах пятнадцатого и семнадцатого веков, но один из них оказался на персидском лаке Котухина в чине царя Додона.

Нет, икона «гражданина поставщика» разбита вдребезги революцией и палешанами, развеяна по ветру палехскими конями, не только голиковскими. У Сафонова работали безымянные «мастеровые». На каждом лаке, хранящемся в музее, написанном ар-

Тельными товарищами, работающими в коллективе, а не в капиталистическом предприятии, написаны золотом фамилии художников. И — обязательно написано, также золотом — Палех, потому что это именно коллективный Палех, и тот Палех, та коллективная живописная школа, которую, — пусть здесь ночевали и Рублев, и Врубель, Моллер и Фрагонар, персы и Рафаэль, пусть для Голикова не писаны законы плагиата, — ни с чем в мире не сравнишь эту школу, созданную советским десятилетием на развалинах палехских столетий, и тех безымянных, которым помещик Бутурлин указывал, держа их «в страхе», «чинить наказание — бить батогами», которые в Пятом году готовились к Семнадцатому.

*«...если бы машина-шахматы»...*

В Палехе живет изумленный народ, который на лаке, на квадратных сантиметрах лака пишет древними красками, и обязательно пишет золотом и полирует коровьим, а того лучше собачьим или волчьим зубом, причем лак и золото оказались элементами «стиля» Палеха.

Тридцать лет тому назад около Палеха поселился художник, носящий звание академика императорской русской живописи, соратник Виктора Васнецова, Николай Николаевич Харламов. В пяти километрах от Палеха он построил себе мастерскую. Окончив Санкт-Петербургскую академию живописи, художник, сын священника, определил свою судьбу, как Васнецов, его товарищ, — храмовою фресковой живописью. Он расписывал церкви. По его эскизам делалась мозаика «Воскресенья на крови», церкви, построенной в Петербурге на месте казни Александра

Второго. Он расписывал Варшавский русский собор, за что получил звание академика живописи. Окончив академию, он умел писать, и писал, и пишет до сих пор портреты,—сейчас портреты руководителей Ивановской области — Аггеева, Носова. Человек с академическим живописным образованием, с большими поездками по миру, с хорошим знанием истории живописи в мире и у нас, интеллигент,—он тридцать лет жил около Палеха, он писал церковные фрески, расписывал церкви,—то есть делал то же, что делали палешане. Варшавский собор разрушен поляками, этот символ русского императорского порабощения Польши, по совершенно закономерным причинам. Церковь «Воскресенья на крови» у теперешних русских вызывает естественное презрение. Харламову под семьдесят,—лучшие годы этого художника больших живописных знаний выброшены на свалку эпох. Он вернулся к тем самым портретам, которым его обучали в академии живописи пятьдесят лет тому назад, к «академическим» портретам также полунужной надобности и полунужного мастерства, хотя они на самом деле академически грамотны. Искусство революции забыло Харламова, в пяти километрах от Палеха, человека, вернувшегося к тому, с чего он начал. Он очень одинок, Харламов. Его дом, ничем внутри не изменившийся за последние тридцать лет, глохнет в парке. В громадной его мастерской стоят у стен громадные заготовки церковных фресок, Иисус, бог-отец, бог-мать. Харламов знает,—тридцать лет тому назад он поселился около Палеха, чтобы учиться у Палеха, он, академик. Он учился у Палеха. Он знает, что все эти красноармейцы, рабочие, пастухи, колхозники, додоны, Пушкин на миниатюрах палешан, поя-

Вившиеся тогда, когда палешане вдребезги разбили икону и иконописные каноны, все они анатомически неграмотнейши, когда всадник вдруг вдвое выше лошади, а двери в палатах вдвое ниже коня,— и он, академик, знает, что он не смог научиться у палешан. Он не знает, как это так получилось, что палешане расцвели золотом искусства,— ведь с полной грамотностью писал он иконы, те самые, которые кинуты в презрение. Харламов на самом деле повторил сказку о рыбаке и рыбке, написанную Зубковым, оказавшись у разбитого корыта молодости, когда от тех же самых икон, к которым с грамотностью подходил Харламов, безграмотные палешане прошли в заслуженные Советского союза. Баканов же, Голиков, Вакуров, Котухин и Маркичев, заслуженные, вошедшие в советское искусство из развалин иконописания и поразившие в первую очередь умением, на самом деле малограмотны. Эти заслуженные до революции были «личниками» и «доличниками»,— то есть одни из них умели писать «лики» и не умели писать все прочее, а другие умели писать все прочее и не умели писать «ликов».

Несколько лет тому назад, когда палехская артель имела уже и славу, и литературу о себе, в Палех приехала дочь художника и художественного критика Лидия Александровна Мантель. Ей было двадцать четыре года, она только что окончила живописную школу Рерберга в Москве. Она попросилась в ученицы в артель. Ее приняли и определили учиться, как некогда учивались сами художники и как учатся сейчас в техникуме их дети,— определили учиться «к мастеру» — к лучшему — Ивану Михайловичу Баканову. У нее был договор с артелью,— она должна была два года учиться и не мень-

двух лет затем отработать в артели. Она показала отличные способности,— не через два, а через год она была принята в члены товарищества равноправным мастером. Она приехала, чтобы подобрать Палех, как Харламов, она была дочь знатока искусств. Она не смогла стать товарищем в артели, не сумев сладиться с товарищественным бытом и традициями. Она должна была уйти из артели. Но она — не ушла из Палеха. В Палехе жил и живет богатырь и столяр Константин Николаевич Солонин, шестидесяти-с-лишним-летний гигант и философ, полуграмотный, книгочей, всегда босой, с расстегнутым воротом на волосатой груди, с непокрытою гривой седых волос, не признающий способа умываться из умывальника, и зимой и летом моющийся на речке Палешке, зимой — в проруби, обязательно непокрытый и босой. Он был женат. Лидия Александровна Мантель полюбила его, он полюбил ее. Они сошлись. Он ушел от старой своей жены. В солнечное утро однажды палешане видели, как босой Солонин, а сзади него, перекинув башмаки на веревочке через плечо, так же босая Мантель — пошли пешком в Москву. Около года их не было в Палехе. Затем они вернулись в Палех и наняли пустующую избу. Солонин судился со старой своей женою, ему присудили корову. Лидия Александровна родила девочку. И в Палехе сейчас она растит ребенка и пасет корову. Николай Николаевич Харламов полагает, что столяр Солонин загипнотизировал Лидию Александровну, дочь старого его друга и коллеги художника Александра Мантель. Лидия Александровна любит своего мужа восторженно, упоенно. Ей думается, что она счастлива. Но она была бы окончательно счастливой, если бы она вернулась в

артель, куда ее не принимают вновь и, должно быть, не примут, ибо у артели есть свои традиции и своя гордость, однажды нарушенные Лидией Александровной. Лидия Александровна верит, что она будет писать, когда дочка сойдет с ее рук,— и будет писать так, как пишут палешане. Ей кажется сейчас, что палехскому искусству ее научил в большей мере, чем Баканов, ее муж столяр и палешанин Солонин, сделав ее палешанкой. Она не подобрала Палеха, Палех подобрал ее. Красивая женщина, молодая, интеллигентка, Лидия Александровна сейчас ничем не отличима от палешанок, ни одеждою, ни даже манерою говорить, так же она держит на руках ребенка и так же пасет корову.

Палехские мастера очень любят писателя Николая Николаевича Зарудина. Зарудин влюблен в Палех. Зарудин — член бригады Союза писателей, обслуживающей Палех. Зарудин всегдашний гость палехских юбилеев и торжеств. Был праздник одного из палехских урожаев — вручение циковских грамот заслуженным Баканову и Голикову. И была всеартельная чарочка великого пафоса, великих торжеств и полуночного часа. За мастерскими лежали морозы, в мастерской в тепле расплавились сердца, «творились», как золото. Художники собрались с женами, каждая жена пришла с брошкою на шее. Говорились речи, хмельные, как серебряная чара. И упоенно говорил Зарудин, влюбленный в Палех. Он говорил прекрасно. Его слова и мозг, обгоняя друг друга, пенились солнцем и были на высоте тех песен, которые пелись над пиром и чарой. На самом деле Зарудин был прекрасен в тот вечер, и прекрасны были его речи, похожие на песнь. И вышла на круг палешанка, и она сказала Зарудину,



восхищенно и громко, так, чтобы слышали все и одобрили, о том, что шесть лет она уже вдова и чтит память мужа-художника, прекрасного друга ее юности,— о том, что как песнь и как память о муже, говорил Николай Николаевич Зарудин, разбередив ее сердце,— о том, что зовет она его, Никалаюшку, от переполненного сердца к себе в избу разделить с ней пуховые ее постель и сон, никем не делимые со смерти мужа. Она поклонилась Зарудину поясным поклоном. Николай Николаевич Зарудин покраснел, как маков цвет, слова отпали от него. Он заговорил поучительно-несуразное, совершенно интеллигентное. Она ожидала. Она поклонилась еще раз Зарудину, и она сказала в поклоне, достойно, целомудренно и просто:

— Не можешь, Никалаюшко? — ты скажи — не надо, я не обижусь. Я от сердца тебя позвала и не от сердца мне не надо, Никалаюшко.

И она запела на кругу, в счастье и в горе одновременно:

Как по морю, морю синему...

Ее слышали все, и все, мужские и женские голоса подхватили:

Плыла лебедь, лебедь белая...

Прозвища палешанами даются друг другу не случайно. Друг Дмитрий Буторин, он же Доленов,— прозван Ильею Федотовичем. Был в Палехе колодезных дел мастер Илья Федотович, который рыл для Палеха и округи колодцы. И никак не остался б в памяти у палешан, а тем паче не назвали б его именем прекрасного художника и прекрасного человека Буторина, если бы однажды Илья Федотович,

уже под старость, вырвав последний свой колодец, запив, не плевал бы в этот колодец. И не то главное, что он проклинал свою судьбу,— Буторин ее никак не прокликает,— а то, что он плевал в колодец, нарушив истину о том, что — не плюй в колодец, пригодится. Водички напиться. Поистине прекрасный художник и прекрасный человек зари туманной юности, лирик и всяческий бессребренник, Дмитрий Николаевич Буторин — не бережет своей жизни. «Наплевать!» — Он остался холост, когда мог бы прекрасно жениться, и может жениться до сих пор, на лучшей девушке села. Оставшись холостым, много работая, он растил не своих детей, а племянниц. Когда палешане волновались о сенокосе, хватит ли сена, и отбивали косы, чтобы идти на покос, Дмитрий Николаевич никак не волновался, на покос не готовился и задумывал во время покосного отпуска написать пушкинского Балду.

По палехским традициям — не дело, не стать такому мастеру. По Буторину, — «наплевать!» — и именно поэтому — Илья Федотович. Труд свой надо беречь и ценить, жизнь свою надо делать и устраивать по мере сил в упорном труде до старости.

Другой холостяк и заслуженный в Палехе — Иван Васильевич Маркичев, — о нем ничего не скажешь. Он сам в порядке, дом у него в порядке, перед домом в палисаднике цветут пионы, георгины и астры; в гости он пойдет, в гости к нему придут, все в порядке; он заслуженный, он работает; женские его дела в секрете; и прозвание ему молодецкое, удалое — Иван Забелой. Палешане умеют трудиться и чтить правильные дела, строящие жизнь.

Десять лет тому назад артель начиналась нищен-

ски, — артельщики сложились двумя рублями членского взноса и десятью рублями паевых. Артельщики не умели делать ни папье-маше, ни лакировать. Вместо презрительного «богомазы» их стали называть не менее презрительно — «коробошники». Артельщикам было очень трудно и голодно. Они работали, учились, портили, учились, существовали со сторублевым «капиталом». И был, и есть до сих пор член артели Александр Иванович Блохин, тихий человек, мечтатель, хороший мастер. На каждом общем собрании Александр Иванович Блохин выступает теперь с одной и той же речью:

— Простите меня, тозарищи, — говорит он. — Я сознаю, я виноват перед всеми и прошу — простите! восстановите мне стаж!..

Когда начиналась артель, когда артельщики, упорно трудясь и участь, и ошибаясь, подголадывали, у Александра Ивановича пала лошадь, и он уехал в Москву на более легкие заработки. Он выбыл из артели, как не работающий. Он был принят вновь в артель, когда вернулся в Палех, когда артель была уже сильна. Но он не был уже членом-учредителем. Он оказался мастером второго призыва. Материально стаж Блохину ничего не дает, — ему хочется восстановить стаж, чтобы восстановить свою артельную честь.

Харламов тридцать лет жил около Палеха. Голиков — никак не классик, и никак не все для Палеха. В Палехском музее хранятся работы Павла Парилова, он совершенно реален, для него обязательны законы заимствований, элементы живописи им изучены, и Парилов очень часто олеографичен; и не только он, но многие другие, и даже Голиков, когда они отходят от золот на лаке, от «стиля», как го-

ворят они, они сваливаются в олеографию и в лубок. Тогда председатель товарищества и критик Александр Иванович Зубков говорит:

— Немастеровато сделано.

Около архитектурно-фрескового — второго Палехского музея — покоится могила. На могильном камне эпитафия:

«В темной могиле почил художников друг и советник.

Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой!..»

Это — могила писателя Ефима Вихрева. Первый, кто печатно заговорил о Палехе, был — ивановский пролетарий, коммунист Ефим. Вся писательская работа Ефима связана с Палехом. Без писательских работ Ефима Палех бы не был тем, что он есть. Шуянин родом, ивановец по воспитанию, человек из рода суровых ткачей, пролетарий, рабфаковец, родившийся в 1901 году и член коммунистической партии с девятнадцатилетнего возраста, — через шуйских и ивановских ткачей он создал понятие пролетарского рыцаря, на самом деле став рыцарем Палеха. Ефим умер 2 января 1935 года. Он ездил из Москвы в Палех организовывать юбилей, там захворал, по дороге из Палеха в Москву в Шуе умер. Он похоронен в Палехе. В дневнике Ефима осталась запись:

«...За гранью Палеха — юность. Я готовился к Палеху двенадцать лет. Я искал его всю жизнь, хотя он находился совсем рядом — в тридцати верстах от города Шуи, где я рос и юношествовал. Чтобы найти его, мне потребовалось отмахать тысячи верст, пройти сквозь гул граждан-

ских битв, виснуть на буферах, с винтовкой в руках появляться в квартирах буржуазии. Вместе с моей страной я мчался к будущему. Мне нужно было писать сотни плохих поэм. Я рвал их, мужая. Я негодовал и свирепствовал. И пройдя сквозь все испытания юности, на грани ее, я нашел эту чудесную страну...»

*«...и Капабланка, конечно, знает больше...»*

Палешане умеют трудиться, умеют делать. В течение столетий палешане писали на досках, на проолифленных левкасах. Голиков принес в Кустарный музей дно фотографической ванны, папье-маше, лак. Это было открытием, но от открытия до начала артели лежало еще очень много перепутий. Палешане не умели делать ни папье-маше, ни лака — лака в первую очередь, того самого лака, который родился где-то в древности в Китае или Индии, оттуда ушел в Персию и Японию, а в Россию к Лукутину пришел уже из Европы, в конце восемнадцатого века. Артель началась нищенски, двумя рублями членского и десятью рублями паевых. Через Кустарный музей артельщики получали федоскинский полуфабрикат, и этот полуфабрикат отсылали в Федоскино же для полировки, — «коробошники».

И у артели возникла целая эпопея поисков умения и «секретов», когда артель сама начала делать папье-маше и лаки, эпопея, длившаяся до тридцать третьего года, почти десятилетие.

Первым поехал на поиски «секретов» в Федоскино первый председатель артели, ныне заслуженный друг

Александр Васильевич Котухин, последним ездил лакировщик и друг Михаил Иванович Блохин.

Первые секреты вывез Котухин; он видел, из чего делается папье-маше, он видел прессы, жомы и колодки; он под Палехом нашел «филесский грунт», как называется глина, которой шпаклюется папье-маше федоскинцами, добываемая под Москвой около Филей; Котухин привез с собой от федоскинцев запасы лаков: изобретатель, столяр и друг Михаил Николаевич Бабанов изобрел для артели свой пресовальный станок; большою водкой выведал у федоскинцев Котухин номера картонов — двадцатый и сороковой, «финляндские»; громадным опытом ошибок артельщики сушили, недосушивали, пересушивали, коробили, сжигали, портили материалы, картоны, масло, лаки, — изучали пропитывание маслом папье-маше, склейку, просушку, обжаривание, шпаклевку, очистку, окраску — и лакировку. Самоучка и изобретатель Михаил Николаевич Бабанов оказался гением, — он вскорости научился делать коробочки всех фасонов крепче, красивее и удобнее федоскинских.

Но лакировать — федоскинцы лакировали лучше. *И кончились запасы лаков, привезенные некогда Котухиным от федоскинцев.*

Достали новый лак в Москве, полировали, — лак не сох или пересыхал, коробился, растрескивался, блекнул, желтел, гасил краски, — и однажды на пятьдесят тысяч рублей — на пятьдесят тысяч! — артели вернули продукцию, потому — что лак потек, прилипал к пальцам, замутил роспись.

В те времена Всекопромсовет приставил к Палеху друга Ивана Ивановича Василевского, ныне помощника директора Палехского музея. На Палех на-

двигалась гроза, в никуда сбрасывавшая его искусство,— отсутствие лака и плохая лакировка. Иван Иванович Василевский и председатель Александр Иванович Зубков взялись за поиски лаков и за приготовления. ○

Оказалось, что «секреты» лаков заключены в способах его варки. Федоскинцы сказали, что «секретов» у них нет и что они дорабатывают старые запасы, мамонтовской рецептуры номер тридцать девять, тот же лак, что был и кончился в Палехе,— а мамонтовские рецепты потеряны вместе с Мамонтовым в революции.

Иван Иванович нашел в Загорске некоего монаха Афоню, он же Алексей Георгиевич, кой будто бы варил лаки для Троице-сергиевой лавры и знает «секреты». Афоня сказал,— да, знает,— и варил лаки сначала на подсолнечном масле, а потом на маковом. Раз двадцать ездил к Афоне Иван Иванович,— раз двадцать пробовали афонины лаки и портили вещи в Палехе. От Афони отказались с негодованием.

Художник Рыбников, реставратор Третьяковской галлерей, посоветовал Ивану Ивановичу обратиться к науке — к Институту лаков и красок, познакомил с научным сотрудником Института, с товарищем Урановым. Уранов взялся за дело всем сердцем. Уранов и Иван Иванович варили лаки в Институте на копалах, то есть на смолах тропических растений, на музейных экспонатах Института, по рецептам, вычитанным у китайцев,— то есть варили по науке. Изварили музейные запасы конго, каури, манилла, серлиди, тропические смолы; копалы то сваривались с маслом, то застывали «козлом», в зависимости от температуры того и другого; сам Уранов

учился на этом варении заново. Наконец наварили пять килограмм лака. Поехали с лаками в Палех.

Не успели прогреться с мороза и опохмелиться,—отправились в мастерские пробовать лак. Отлакировали, только-только положили в сушилку — лак произрос, как инейные хвощи на стекле в морозы на окошках, ничего не выходило. Стали изобретательствовать на месте. Изобретательствовали. Науке вопреки, подсыпали в лак кобальтового сикативу,—лак стал держаться, но лак окончательно темнил краски. Ничего не выходило.

Вся артель сидела в лакировочной мастерской и мучилась в раздумьи. В раздумьи сидения однажды Александр Васильевич Котухин принес лаковую банку прежних запасов, еще мамонтовскую, привезенную от федоскинцев; на банке стоял номер лака — сорок, а не тридцать девять, то есть федоскинцы обманывали, говоря, что они работают на тридцать девятом.

Уранов о лаке номер сорок ничего не знал. Со старой банкой и с несколькими каплями лака, застывшими на дне банки, Уранов и Иван Иванович помчались в Москву, в Институт, производить химический анализ. Анализ толком ничего не дал, кроме того, что таинственный лак варен не на копалеманил, а на копале-каури.

Начали варить на каури. Варил весь лаковый цех Института. Уранов ночей не спал вместе с Иваном Ивановичем. Ничего не вышло.

Стали искать мамонтовских людей, нашли англичанина мистера Аннэта, который у Мамонтова плавил копалы. Аннэт рецепта не знал, но знал «секреты» варения. Полезли в архивы, перерыли архивы, нашли рецепт,—каури плюс кипящее льняное масло



(но никак не олифа!) плюс домара (то есть минеральная смола) плюс терпентиновое масло.

Варили. Сварили весь музей,— но варили без мистера Аннэта.

Опять поехали в Палех.

Лак перестал «грибнуть», давал ровную поверхность, но — тушил краски и не блестел.

Опять помчались в Москву — к мистеру Аннэту. Аннэт сказал, что варили неправильно, без «секрета», и взялся сам варить. Доставали лицензию на копал-каури и домару, Иван Иванович ездил в Вологду за терпентином. Пришла посылка из-за границы,— домару не прислали,— стали искать домару по России и нашли — под Мстерами, на заброшенном лаковом заводе. Заключили договор с заводом лако-красок в Москве, завод потребовал меди для котла. Иван Иванович доставал медь, достал. Приступили к варению. Перед самым варением мистер Аннэт напугал,— сообщил, что лак надо будет выдерживать десять лет, что лак «созревает» только после хорошего отстоя, потом успокоил, что, мол, он знает еще один «секрет», как обойти это лаковое обстоятельство.

Есть лак!

Нету больше лаковых «секретов» ни у Мамонтова, ни у мистера Аннэта, ни у федоскинцев, ни вообще в СССР! — Палех раскопал все копалы, и каури, и манилл, и конго, и домару. Иван Иванович сделался химиком не хуже Уранова. Палех сделал лаковое открытие не менее значимое, чем его искусство.

А полировка — полировка у федоскинцев была лучше.

Лак и не тушил, и не грибил, а не было у палешан той алмазной поверхности, что у федоскинцев.

А вообще, лак грозюю вставал уже и перед Федоскиным, и перед Мстерами. Мстеряки и федоскинцы запросили лака у палешан. Палешане — дали с расчетом, — хотели посмотреть, как этот лак заблестит у федоскинцев. Сравнили затем, — «наши ломирают, а их кричат во-всю», — как определил Михаил Иванович Блохин, палехский полировщик. Стало совершенно ясным — «секрет» не в лаке, а в полировке. Федоскинцы знали нечто, чего не знали палешане.

В то время — в тридцать втором году — в Москве была выставка русского лака, палешан, федоскинцев и мстеряков; и на выставке ж было организовано производственное совещание. Доклад о лаке делал Уранов, — федоскинцы слушали его со вниманием великим. Но на вопросы о способах полировки не молвили федоскинцы ни слова, покуривали и посмеивались себе в усы, — «секрет» не выдали.

И тогда к делам приступил Александр Иванович Зубков, председатель. Он вспомнил «заветы отцов». Он собрал правление, и правление направило полировщика Михаила Ивановича Блохина «в научную командировку», как сказано было в протоколе, — в Федоскино с тем, чтобы Михаил Иванович прознал «секрет». Дадены были Михаилу Ивановичу триста шестьдесят рублей безотчетных и даден был наказ денег не жалеть, перепойть все Федоскино, но «секрет» украсть.

Михаил Иванович рассказывает о своей командировке:

— Приехал в Федоскино, пошел в правление к председателю, показал документы. Он мне сказал: «Смотри производство», — отвел в мастерскую, познакомил с мастером Ильею Ивановичем. Мастер

смотрит на меня, как есть, волком. Как ушел председатель, он мне говорит: «Знаем палехских плутов, вы только к нам ездите да слизываете!» Я смотрю, как он работает, а он ничего не делает, на меня глядит. Я закурю, он у меня папироску возьмет. Я выйду,— он берется за дело. Я приду,— он на меня смотрит, поругивается, а то молчит и курит. Так целый день просидели. На другой день я пришел, говорю: «Давай на двух производствах работать будем,— я свой лак привез, попробуем», а он мне: «Что мне пробовать, я сорок шесть лет пробовал!» — «А как выпить,— пьете?» — спрашиваю. — «Мы — рабочий народ,— отвечает,— можем, только бы деньги были». Об деньгах я молчу, я говорю: «Где бы магазин найти?» Он говорит: «Магазин есть, да завмага посадили за растрату, не торгует магазин в силу переучета,— за три версты надо идти». Я пошел, купил четыре литра,— закуска у меня была еще из Москвы. На обратном пути к трем литрам за горлышки привязал я веревочки и спустил их в речку, припрятал, а с четвертым иду к Илье Ивановичу. «Ну, как,— пришел, достал?» — «Достал»,— говорю. — «Ну, хорошо, сейчас поправимся,— стакан вынул,— будь за хозяина, наливай!» Налил я ему стакан. «Будем здоровы»,— говорит, выпил. Я ему еще стакан налил, опять выпил, помолчал, посмотрел в окошко, встал, надел фуражку, сказал: «Ну, до свиданья!» — и ушел. Вот тебе и «секрет»!.. Пошел я к завхозу, взял со дна речки второй литр, пою завхоза целый вечер, к нему кумовья пришли,— я говорю: «Я еще за вином схожу»,— меня спрашивают: «А где ж ты достанешь?» — «У меня припасено». Я третий литр со дна достал, пьем, заговорили о деле, он мне говорит: «Нет, сынок, мы

годами учились, а ты в неделю все хочешь произойти,— не выйдет! есть секретец, да я тебе его не скажу!»

Михаил Иванович за последним литром на реку пошел, темно; слышит, точно буйволы в воде храпят и возятся: двое федоскинцев в воде ползали без штанов, один из них кум, что у завхоза был,— блохинскую водку в воде искали, подсмотрели, где он прячет, замучились в воде. С утра Михаил Иванович Блохин опять купил четыре литра, опять три из них потопил, пришел в мастерскую к Илье Ивановичу, пили весь день, но дела не делали, опились окончательно. А «секрета» нет. Вечером — завхоз. На третий день Илья Иванович совсем на работу не вышел, и завхоз пропал. Три дня завхоз и Илья Иванович от Блохина бегали,— федоскинцы утрашились блохинской водки. А к концу недели — сдались, не выдержали, вновь опились, и опытный Илья Иванович выдал «секрет» — говорил: «Вы ведь палехски, когда лак подсохнет, трете суконкой с пемзой, а от этого все-таки остаются царапины,— а надо после того протирать трепелем. А кроме того, вы ведь, палехски, пемзу салом стираете, а надо — не пемзу, а трепель — стирать деревянным маслом. Вот и весь секрет... Эх, вы, плуты!..»

Наутро Михаил Иванович возвращался в Палех из научной командировки. «Секрет» был найден: надо было дополировывать трепелем и надо было окончательно протирать не салом, а деревянным маслом. «Секрет» был найден и — тем самым — уничтожен.

Есть лучший в СССР лак и способы полировки, уничтожившие «секреты» и созданные палешанами, впопеей, длившейся без малого десятилетие.

## А лак —

Лак родился где-то в Индии или в Китае тысячулетия два тому назад из ядовитых смол и трав столь крепких, что тысячулетия, а в Японии до середины прошлого века из лака делали оружие, стрелы и панцыри; на этих лаках и под этим лаком китайцы писали свои картины, прожившие тысячулетия. Лак клался в Китае на дерево.— В начале второго тысячулетия от рождества Христова лак с азиатского Востока пришел в Иран, в Персию,— и в Персии лак лег на папье-маше. В шестнадцатом веке папье-маше и лаки добрались до Европы, сначала в Англию и во Францию, затем, в начале осьмнадцатого, в Германию, в Брауншвейг. Из Брауншвейга, в 1795 году купец Коробов привез лак и папье-маше под Москву в Федоскино, зять купца Коробова купец Лукутин образовал лаковую мануфактуру, которая к семнадцатому году превратилась в федоскинскую артель. Лак бродил по миру веками, веками осваиваясь. Из Китая через Персию и Европу лак пришел в Палех, уничтожив в Палехе свои «секреты».

Нигде в мире, кроме Палеха, не употребляются на лаке иконописные, яичные краски, ни у федоскинцев, ни в Европе, ни в Персии, ни в Китае, ни в Японии, краски, единственные в мире на лаке, делающие единственным в мире палехский лак. Сами по себе эти краски не новы; древняя живопись пользовалась ими в совершенстве; они утрачены были для современной живописи; Палех их возрождает так, как никто в мире.

Лак — краска — золото. Как лак, так наново найдено палешанами золото. Древняя икона употребляла «иконопись на ассисте»; ассист — это клей, ва-

ренный на чесночном соку; ассистом писался орнамент; растиралось сухое золото; разминался мякиш черного хлеба; мякишем бралось тертое золото; золото прилипало к ассисту; ассист высыхал; так возникали золотые орнаменты. Начав иконопись на ассисте, палешане отказались от этого способа, ибо он был груб для миниатюры, где золото надо иной раз класть так, чтоб оно видно было только сквозь лупу. Они золото (и серебро) творят, как краску, на ассисте, на клею,— и они небывало возродили коровий, а того еще лучше собачий иль волчий зуб.

Палех умел и умеет трудиться. Палеху приходилось очень много искать. Он очень много сделал, этот изумленный народ. Каждое пятнадцатое и тридцатое число собирается комиссия. За столом в правленской комнате товарищества садятся старейшие, председательствует Зубков, секретарствует Буторин, очень торжественно. Из ящика Александр Иванович вынимает миниатюру за миниатюрой по очереди, артельную продукцию за две недели. Члены комиссии просматривают вещь, вздыхают и молчат.

— Ну, как же, товарищи, осудите? — спрашивает Зубков.

— Какие писать замечания? — спрашивает Буторин.

— Ножка у ей сделана, вы поглядите,— говорит Ватагин, вздыхает и клонит голову набок.— Если по стилю, можно отступить от анатомии, а стилю-то маловато, да...

— Да, не реально,— говорит справедливейший Баканов,— реальности мало... и золотце небрежно положено... я за первый сорт.

Сортов, кроме индивидуальных расценок, шесть,— а, б, в, первый, второй и третий; сорта расценива-

ются по сантиметрам, — сорт а — десять рублей сантиметр, третий — два рубля тридцать копеек.

— Не мастеровато, значит? — спрашивает Зубков. — Золотовато?..

— Какие писать замечания? — спрашивает Буторин.

— Пиши, — нету реальности стиля, торопится парень, — говорит Чикурин, — торопится, а мастер мастероватый.

— И про ножку вставь, да, — говорит Ватагин.

Они очень строги, старейшины, и протоколы, написанные Буториным, гласят следующее:

«...Корила О. М. 3-й сорт. 4 коня — копыта велики».

«...Белоусов Л. И. 2-й сорт. Закрывать каретой руку с пистолетом».

«...Душин Ф. М. Возвратить на переделку, комиссия предлагает не халтурить».

«...Паликан В. М. 3-й сорт. Исправить голову у сына царя. Комиссия предлагает не сдавать темпы».

«...Корованин Е. А. Первый план увеличить против заднего. Рожь не хороша, переделать. Орнаменты на всех шкатулках одинаковые, нужно разнообразные».

«...Котухин В. В. «В». У Кошеля убавить ногу».

«...Баканов А. Г. 1-й сорт. Удлинить к сную корову, у зеленой показать ноги».

«...Еремин В. Допущена ошибка — парень сидит в лодке, свесив ногу в воду».

«...Хохлов А. На лак попал сор. Можете писать вещи качественно лучшие».

«...Лызников И. К. Тематику с убийством не пишите».

«...Малахов М. Возвратить в переделку — креслу пристроить ножку и правильно написать подлокотышку кресла».

«...Першин И. А. Женщина далеко отодвинута, почему жест объятия приобретает неестественный характер.

«...Хохлов Н. М. «В». Чувствуется улучшение в композиции и тщательности».

*«...Гулянка, хоровод, пляска. Виртуозность во время пляски парня или девки... Пьяная компания, сам в ней»...*

*Ив. Голиков.*

Шестого июля, в субботу, в Дягилеве была престольная владимирская. Седьмого в Красном был престольный креститель. Созрели уже земляника с черникой. Отцвели уже — рожь, пшеница, овес, лен. Цвели ромашки, васильки и клевер. Восхищенный народ готовился уже к сенокосу. А пятого приехали с Кавказа, из Армении, куда ездили в гости к армянскому Союзу писателей, старейшие и почтеннейшие, заслуженные друзья Котухин, Маркичев и Вакуров. Побывав на озере Севане (которое в скором времени исчезнет, превратившись в семь новых озер, оросив Закавказье), побывав в Эривани, на строительстве и в колхозах, заслуженные по две недели сидели в Эчмиадзине, в эчмиадзинской библиотеке, роясь в рукописях одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого армянских веков. Они копировали концовки, заставки и иллюстрации этих рукописей. Они привезли замечательные вещи, поразительные, о которых никто не знал, не знали



даже армянские художники, — замечательные рисунки, цвет и краску, необыкновеннейшие, смелейшие композиции. В пятницу пятого заслуженные парились в банях. В субботу с трех часов товарищество двинулось в Дягилево, к друзьям: философу Зиновьеву и любителю красот сельской жизни Чикуруину.

И — если из ночи столетий до Семнадцатого года палешане сумели вынести к солнцу новые лак, краску и золото своих миниатюр — оттуда же изумленный народ принес новое веселье, консервативное так же, как голиковские стихи. Если каждый день за четырьмя часами была серебряная чара, то это была чара изумления. Должно быть, так пили фламандцы в свои лучшие дни. Так пьют грузины. У палешан не бывает пьяных и пьяных скандалов. Самое большее палешане бывают — в чихире. Палехская чара, дополненная песнью и работой, из злой водки выродилась так же, как левкасы икон выродились в лак сказки.

К Чикуруину и к Зиновьеву на праздник приехали с российских весей дети. Пили и пели. Ходили всем товариществом купаться на Люлех. На улице завился хоровод — театральное действо само собою подразумевается. В хороводе ходили актеры и актрисы, играя в песню и в жизнь, как песня. Начала хоровод молодежь, та, которая не удивлена, — военный сын Чикуруина с ромбом на лацкане, учительница — дочь Зиновьева, учителя, инженеры дорожники и технологи, врачи, агрономы, дошкольницы, плановички и великое множество студентов — в первую очередь палехского живописного техникума. Военный сын Чикуруина «играл» в жениха. Этот, уже не удивленный, народ, девушки и юноши, нарядные и

по молодости очень степенные, пели по-хороводному алые и лазоревые,— пели:

...Хожу я, гуляю вдоль по хороводу...

Зайнька беленький!..

Ищу, выбираю богатого тестя...

Зайнька беленький!..

Нашел я, выбрал богатого тестя...

Зайнька беленький!..

...Пойду погуляю вдоль по хороводу...

Зайнька беленький!..

Ищу, выбираю богатую тещу...

Зайнька беленький!..

Нашел я, выбрал богатую тещу...

«Теща» и «зять», довольные и смущенные, вышли на круг, принятые улыбками, пошли по кругу павами, актеры. Затем на круг вышли, так же вызванные песней и так же довольные и смущенные актеры «шурин» и «свояченица», пошли павами, заиграли. Затем вышла и «невеста», заведующая палехскими яслями.

Нашел я, выбрал богатую невесту!..

Невесту, зайнька!..

Будь ты мне невеста, а я тебе муж!..

Буду, зайнька!..

Затем началась расплата:

Я, пропивши пиво, своево тестя в рыло.

Я, проевши пироги, свою тещу в кулаки.

Я, изъездивши коня, своево шурина с двора.

Зайнька беленький!..

Молодой своячнице — дорогой подарочек.

Дорогой подарочек — шелковую плетку.

Зайнька беленький!..

Весел я, весел, что один остался,

Что один остался со своей младою млаой.

Доктор Чикурин, жених, шел гордо и независимо, приплясывая, и рядом с ним шла невеста, заведую-

щая палехскими яслями, и довольная и степенная от смущения. Артисты играли во все свои таланты, не жалея сил и смеха. А наряды на девушках, а сам хоровод много раз были написаны и Бакановым, и Ватагиным, и Зиновьевым, и Чикуриным, и Голиковым. Пьяных не было. Хоровод вырос человек до двухсот, до мистерии,—киновари, баканы, лазури, золота, сионские земли, охры. Ликовали тальянки, песнь и актерство. Сердце председателя Александра Ивановича не выдержало — он пошел по кругу в присядку. И говорил речи, любитель поораторствовать.

— Товарищи,— говорил он изумленно,— что делается!..— какие у нас праздники, вы понимаете!? Во-первых, сегодня праздник конституции у нас, а также праздник кооперации...

— ...а в-третьих — владимирской! — иронически вставлял Буторин.

Зубков отмахивался и не слышал.

— Во-первых, конституция, товарищи, во-вторых, кооперация, а в-третьих, товарищи, вы смотрите, что делается, вы понимаете? на праздник в Дягилево...

— На владимирскую...— вставлял Буторин.

Зубков отмахивался, не слыша.

— ... в-третьих, товарищи, что делается, вы понимаете?! — на праздник в Дягилево приехали две легковых машины, и одна из них принадлежит нам, то есть артели художников древней живописи. И это есть наш заслуженный пролетарский праздник... а в-четвертых...

— ... владимирская...— вставил Буторин.

— Митька, отстань к чорту!..— в-четвертых, и самое главное, товарищи, вы понимаете!? — приехали наши друзья заслуженные деятели искусств Коту-

хин и Маркичев из научной отъездки с Кавказа!.. Вы понимаете, это всеобщее наше ликование, когда не то что при Сафонове расписывать храмы богами, а для науки наши товарищи ездили в Армению и сидели в Ечматзине над армянским искусством одиннадцатого века, где до них никто не сидел. И это, кроме конституции, наш главный праздник.

— ... и владимирская...

— Митька, отстань к чорту с владимирским туманом!.. и я предлагаю, товарищи, всем спеть «Чарочку» нашим заслуженным друзьям!..

Старшее поколение палешан — на редкость здоровые люди, шестидесятилетние выглядят сорржапятилетними. Котухин и Маркичев, два друга, богатыри, Адмирал и Иван Забелой — тому свидетели. На праздник они пришли в соломенных шляпах, по-кавказски, еще не окончательно отошедшие от путешествия, долго пребывали в степенности, а потом растворились в хороводе и молодежи, среди девушек и юношей, сами молодые, как молодость, — застряли в ночи, растворились в ночи и в молодежи.

Седьмого работали до четырех, а в четыре, во главе с Котухиным, Маркичевым и Буторинным двинулись в Красное — в киновари, баканы, лазури, кобальты, в охры и золота хороводного действия. Купались на Люлехе. Ходили в хороводе. Опять врачи, агрономы, инженеры и студенты, — то есть палехская молодежь, — учиняли мистерию, пели:

Как по первой по пороше  
Шел Ваня хороший,  
Не путем шел, но дорогой —  
Чужим огородом!..

Восьмого числа изумленный народ работал и отдыхал по домам. Девятого числа, после работы, в четыре часа дня, двинулись — к большим соснам, в лес, — в то самое место, где тридцать лет тому назад собирался революционный подпольный кружок. И пошли туда — те, кто остался жив от того кружка. Кроме водки, захватили с собою баранины. Кавказцы жарили на костре новое в Палехе блюдо — кавказский шашлык.

*И найден был клад,* — найдено было место, где зарыта библиотека подпольного палехского кружка: ее зарывал не библиохранитель Николай Лапин, но — Александр Васильевич Маркичев, Пистон по прозвищу, первый палехский и замечательный сатирический хороводный артист. Библиотека зарыта около дома Ивана Васильевича Маркичева, Ивана Забелого, против третьего окна в проулок.

Поминали о кладе, скидывали воспоминаниями с плечей своих по тридцать лет каждый. Большие сосны поистине громадные, столетние, своими кронами высоко поднимающиеся над лесом. С поруби около них тянул ветерок и пахнул земляникой. Солнце садилось за лес по принципам палехской живописи.

А молодежь, и пятого, и шестого, и седьмого июля, после хороводов несла по полям, по Люлеху и Палешке осколки песен, смешки, гоцелуи, мистерии, ласку, — прятала их во мраке, расплескивая мрак весельем, и уносила их по избам, когда поднималось бакановое солнце. Занятия в палехском техникуме закончились, экзамены отошли. В весну тридцать пятого года был первый выпуск техникума, наряду с первым выпуском советских десятилеток, — первый выпуск палехских, грамотных в правописа-

нии, в знании русской истории и политграмоты, художников. И, если разительно различие той учебы, которую проходили Арбековы, отец и сын, то различие учебы, пройденной Иваном Ивановичем Зубковым и его дочерью Тамарой, Иваном Ивановичем Голиковым и его сыном Юрием, художниками,— еще более, гораздо более разительно. Отцвели ландыши и калина, цвели лесные белые фиалки, ромашка, мята, щавель, клевер. Над рожью по утрам вдруг поднимался дымок, летел над рожью без ветра,— это летела пыльца ржаных тычинок, опылялся, оплодотворялся хлеб. Цвели липы. На рассвете и в три часа дня играл рожок, собирая стадо. Палешка и Люлех звенели детскими и женскими голосами купавшихся, опускавших свои тела в тенистую зелень вод под соснами и ольхою, нависшими над Палешкой. Ночи напролет звенели песни, вздыхала гармоника, во мраке в полях, на задах под деревьями, у Дома соцкультуры, расплескивались женские смешки. Творились ночные мистерии. И поднималось солнце. У каждой женщины в Палехе, в возрасте, предназначенном природою для рождения, обязательно на руках ребенок, а второй ребенок тянет мать за юбку. У каждого художника множество детей, и даже у холостого Буторина бегают дочка. С рождения дети в Палехе умеют держать кисточку, с рождения считая естественным состоянием человека состояние художника.

И поднималось солнце...

Изумленный Голиков записал:

«...не только нам и нашим детям, а хоть и женам давай в руки кисть. Да, жены наших детей будут тоже художниками. Они теперь уже учатся в нашем

техникуме. Мы нашли свое место в революции. Жизнь наша становится красивой, как наши картины и коробочки. Революция наш нудный штампованный труд переключила на большое, свободное творчество. Нет теперь вдохновенных художников-пьяниц. Они стали лучшими мастерами, и им присваивают звание заслуженных деятелей искусства. За это благодарим советскую власть...»

И поднималось солнце...

Из столетий своей доистории, за Октябрем, Палех в наш суровый, боевой пролетарский век взглянул радостью, весельем, поэзией — *умением — сказкой*. На самом деле, в трехстах километрах от Москвы, в тридцати километрах от железной дороги, — не один, не два, но несколько десятков, со ста двадцатью учениками, с громадными мастерскими, с государственным музеем, живут художники, объединенные в артель, в тот коллективный труд, который развивает *индивидуальности*, в то товарищество индивидуальностей, которое создает *школу*, причем труд в этой школе построен так же, как во времена Беллини и Рафаэля, когда у великих мастеров были великие ученики. Эта школа, *порожденная революцией*, возродившая не только подлинно-русское искусство, но указавшая, что культура этих товарищей восприимчива к искусству всего мира, — эта школа есть закономернейший *социалистический* результат последнего десятилетия, революции, коммунизма.

Наутро мастера идут на работу, в мастерские. У окон столы, за столами художники. У каждого стола прославленного — четверо-пятеро учеников. Мастера сидят в нижних рубахах, с помочами наружу,

иной раз полубосы, в комнатах пахнет махоркой. Творение на яичном желтке краски — лазури, охры, хроны, умры, баканы красный и зеленый — разлиты по суповым деревянным ложкам, у которых отрезаны ручки. Кисти, сделаны из беличьего хвоста, самодельны. Около золот и серебра лежат коровьи и собачьи зубы. Там, где работа недоступна глазу, там употребляется лупа. Ученики следят за каждым движением учителя, за тем, как он кладет золотой блик, на-глаз, иль как пишет он плавью, — как он сворачивает собачью махорочную ножку, закуривает, прищуривает глаз и медленно всматривается в свою композицию, как в раздумьи он запекает, — «ээх, во суббо-оту»... — Мастер говорит иной раз ученикам, юношам и девушкам, заглядывая в их работы: — «Ты гляди, что у тебя дается, — нога-то у Кошцея больше, чем он сам, а зеленая корова его меньше, — как ты свою композицию делаешь? — ты с какой перспективы работаешь, покажи... улучшай тщательность!»... — Мастер берет газету, от которой оторваны углы для собачьих ножек, и расчерчивает на ней палехские законы перспективы и анатомии. Ученики ложатся мастеру на плечи, чтобы удобнее видеть. — «Ты гляди, видишь? — вот это — да, композиция. Понял? — в композиции обязательно должно быть такое место, чтобы в глаза бросало, чтобы глазу разлететься, это — да... пиши дальше»... — Мастера задумывают свои композиции и зарисовывают их на бумаге, иной раз на газетном лоскутке, и оттуда переносят на лак, уже без карандашного рисунка, прописывая рисунок белилами, на которые впоследствии будут положены все палехские краски и все золота. Написанные вещи мастера



ставят на самое яркое солнце, ибо палехские краски, вопреки вообще краскам, становятся на солнце ярче и полноценнее, и меркнут во мраке. После солнца написанные вещи, еще до первой полировки и до золота, идут в высокие температуры сушильных печей. В комнатах тихо, пахнет махоркой, иной раз, возникнет песнь вполголоса, в раздумьи. Люди трудятся. Так до четырех часов вечера.





## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Поднималось солнце. На заре играл пастух в трубу. «Урядники», — то есть жены художников, доили по дворам коров и гнали их к архитектурно-фресковому второму Палехскому музею, то есть к ликвидированной и превращенной в музей церкви. Пастух угонял коров, нетелей и овец на пастбище. Женщины, босоногие по росе, похолодавшие в заре, ложились на часик в постели к теплым мужьям, — и поднимались за час до мужей, чтобы принести воды, напоить мужа чаем, спечь ему лепешку. Мужья уходили в мастерские. У жен оставались дети и печка, обед, белье, двор, погреб, баня, куры и вздоры, кроме общественных дел — прополки коллективных полей, поливки коллективных огородов, коллективной навозницы, и оставалось коллективное отличие женского быта от мужского.

Мужчины жили в изумлении и при искусстве, а жены... Один-единственный Алексей Иванович Вагагин, при «чихире», наименее пьющий художник, скашивал набок голову и говаривал лирически: —

«Вот моя Андревна, это — да, я ей скажу, — Андревна, что-й-то выпить хочется, а она спрашивает, какой — простой или сладенькой?..»

Жены считались «урядниками». Александра Михайловна, жена художника и хозяйка Сергея Ивановича, сдавшая Арбекову всю свою избу и переселившаяся спать на чердак, сказала таинственно:

— А в стаде-то что у нас деется, никогда такого не слыхивала, — бык у коров молоко ворует.

— А чего пастух смотрит?.. — откликнулся хозяин Иван Васильевич, по прозванию Колбаскин, — эти наши женщины пастухов нанимают не по делу, — сказал он в пространство, — пастух хорошо на трубе играет, значит, хороший пастух, а дела пастух не знает, кроме трубы...

— Это, значит, пастух для нас играет в трубу?

— Обязательно для вашего удовольствия, для услаждения!..

— Ты сам встань в три часа, подои, — усладись вместо меня.

— Это не моя повинность.

— Известно, не твоя! — твоя — литрии считать да с ученицами ляды точить... Где ты вчера был, ну, где?

— Я с товарищами... в силу крайности... опять же заслуженные с отъездки приехали.

— А кто из вас Нюрке Кориной цветочки нарывал?

— Ну, ты уж скажешь. Это между прочим, разный сор под ногами рос...

— Известный сор у девок под ногами.

Мужское поколение палешан — на редкость здоровые люди, которых ничто не берет. И все они — поэты. А жены...

Александра Михайловна пребывала в делах и заботах, тихая и никем не слышимая. Она кормила людей и скотину. Она мыла полы в доме, подметала у дома и полола свой огород, две грядки клубники, две грядки помидор, две грядки чесноку и луку. Она по заре, до часа, когда проснется повелитель, ходила за ягодами и за грибами в лес. Она щупала кур, отваживала клушек и вместе с клушкой выводила цыплят. На рассвете и в три часа дня играл пастух на рожке, собирая стадо. В час дня и в восемь вечера пастух пригонял стадо. На Советской площади, на улицах Баканова и Голикова стадо поднимало пыль, мычали коровы, блеяли овцы, бестолковейшие от роду,— и Александра Михайловна вместе с остальными «урядниками» путешествовала по пыли, распутывая телячью и овечью глупость на дыдыкинские, бакановские, вакуровские собственности и дворы. Надо было доить корову. Надо было по холодку натаскать воды и полить гряды. Надо было приготовить ужин.

Когда в Палехе организовывался колхоз, вся артель художников пошла в него. Затем артель вышла из колхоза как промышленное, а не сельскохозяйственное предприятие. И Александра Михайловна говорила Сергею Ивановичу:

— В колхозе, чай, лучше, чем в артели. У них на уме все искусство да искусство, а мы знаем, что такое ихнее искусство. Каждый вечер в чихире ходят, и у каждого по милой, откуда только они их берут. А мы — готовь им обедать да ужинать... Я не скажу про Баканова или Зубкова, про Котухина с Маркичевым,— они хорошо зарабатывают, им на все хватает. А мой или возьмите кого другого — в колхозе мы больше бы заработали. И в колхозе —

поверка идет, там женщины больше мужиков зарабатывают, там видать, кто кому кормилец, а тут — искусство да искусство, а мы — сиди дома, ожидай супруга, и нашему делу никакой мерси. Они нас урядниками называют, а забыли, что мы с ними живем и жить должны... Нет, в колхозе лучше, я там трудодней больше его набрала бы. А что касается детей, и у колхозников дети в семилетках учатся, одинаково с нашими.

Сергей Петрович Аггеев сказал однажды:

— Мы райкомам и райсоветам автомобили дарим, — через год вся область будет в автомобильных дорогах.

От Палеха ведет автомобильная дорога к Пестякам и к Юже. Василий Васильевич Зимин, палехский воевода, председатель палехского райисполкома, как Нансен в Арктику, прокладывает автомобильные пути в свои периферии, к колхозам и к колхозному льну. Колхозники выполняют трудодни коночасами, возят песок и щебень, перевозят с места на место глину с дорожных траншей. Девушки работают лопатами, «стройно землю вороша», и провожают товарища Зими́на прибаутками, — авто-ед, мол!.. Все же ухабы на дорогах имеются. Однажды Сергей Иванович, замучившись от ухабов, уселся на траншею новой дороги, под соснами, около коночников, которые кормили по жаре лошадей; лошади с головы до хвоста и под животом были обвязаны рябиновыми, осиновыми и березовыми прутьями от слепней и походили на движущиеся шалаши. Колхозники жарили на костре картошку. Воздух пахнул сосновой смолой, растопленной в солнечной жаре.

— Иконник Белоусов, как в хозяйчика вышел после Грановитой Палаты, отремонтировал Сафоно-

ву в пику иконостас и взял у попа письменный документ, что иконостас как раз он ремонтировал, а не Сафонов, его конкурент. Своевременно померли и Сафонов, и Белоусов, и оказались в аду оба вместе. Сафонов и спрашивает Белоусова, — как же ты, мол, при документе на иконостас в аду оказался? — А Белоусов отвечает, — да архангел, сукин сын, который меня с земли провожал, читать только по-латински может, по-русски не понимает, безграмотным по-русски оказался, не прочитал, дьявол, документа!

— А то ехал через реку Лух на ботнике научный господин, спрашивает перевозчика, — ты науку химию знаешь? — Нет, говорит перевозчик, не знаю. — Научный господин совсем головой замотал от сокрушения, а перевозчик застыдился от своей необразованности. И вдруг во время это от научных разговоров ботник возьми да и перевернись. Перевозчик спрашивает, — а плавать ты, барин профессор, умеешь? — Нет, отвечает научный барин. — Ну, тогда мне придется спасти твою научную жизнь, чтобы ты не потонул.

Колхозники были людьми знакомыми, палехскими, два брата, Роман и Ефим Архиповичи. У Романа Архиповича с собою около костра лежали «Записки врача» Вересаева. Оба некогда были иконописцами. Один из них вместе с Буториным работал в палехском комитете бедноты, другой служил при Вицине в Шуе, в домзаке. Подошла к костру дочь Ефима Архиповича, комсомолка, спросила Сергея Ивановича:

— Вы Есенина живого видели? — он да Маяковский мне нравятся.

Оказалось, что самый любимый ее писатель — Диккенс.

Роман Архипович рассказывал:

— Годов сто тому назад при Николае Первом вводили эту самую картошку, а до этого лет за пятьдесят ее же вводили французы. Французы ее вводили так. В разных местах своей земли посеяли они картофельные поля и приставили к ним гренадеров и велели гренадерам — смотреть кругом сквозь пальцы. Прохожие крестьяне проходят мимо, спрашивают, — что, мол, посеяно? — а гренадеры отвечают, — посеяна пища царского стола, заморского роду, под названием земляное яблоко или картофеля. Мужики стали воровать царскую пищу, чтобы попробовать, как цари питаются, — для себя посеяли... У нас было несколько иначе. Николай Первый разослал картошку губернаторам, губернаторы — исправникам, исправники урядникам, а урядники мужику, — сей, сукин кот, без всякого рассуждения! Никто про нее толком ничего не знал, а понимали так, что раз сам амператор в это дело ввязался, значит, добра не будет. Произошли так прозываемые картофельные бунты. Картошку чортовым семенем объявили, ядом. Попы молебствия молили. В одном месте убили исправника. Людей из-за картошки убивали без счета. А теперь, спрошу я вас? — запрети мне картошку сажать, что я без картошки делать буду? — Роман Архипович помолчал. — Шубу с Сафонова, с гражданина поставщика его величества, я вот теперь на себе донашиваю... Сначала мы кулачков раскулачивали, и не заметили, как у нас у самих мозги раскорчевались, — я тебе об этом расскажу впоследствии...

*(Рассказ Романа Архиповича о раскорчеванных мозгах рассказан ниже.)*

— Был у нас десятилетний юбилей коробошников. А то был наш колхозный праздник урожая. Де-

ло простое — убрались в поле, справились со льном, позвали соседей попировать, отпустили, пятнадцать тысяч рублей на пир. И надо отметить про посуду. У Сафонова тоже пиры бывали, ну, и от самого его раскулачивания остались без надобности разные его блюда для рыбы и для гусей, супники сразу на два ведра супу, подносы, кастрюли. Они нам пригодились только в колхозе. Мы щук у гогольской рыболовной артели купили — слышали про деревню Гоголи на Лухе? — знаменитая деревня! — щук купили — больше, чем у Сафонова ростом. Собрались к вечеру, всю ночь автомобили своими глазами лошадей пугали, гости отовсюду ехали. Майдаковская коне-ферма рысаков прислала напоказ. Пировали во всем Доме соцкультуры, в бывших сафоновских мастерских, знаешь... Сто пятьдесят гостей было — председатели сельсоветов и колхозов, бригадиры, а затем наш колхоз полностью, от мала до велика, — гости шли, ехали, целую ночь гуляли. Ну, ты знаешь об этом, — каждому человеку кажется, что его дела — самые важные, прямо сказать, исторические дела. Так же и обществу. Без этого нету смысла. Ну, и говорили — самые настоящие государственные речи и писали письма с приветами — товарищу Носову и товарищу Аггееву. Мы заставили на празднике отчитаться перед нами всех соседей, — то есть пожелали послушать, как идут дела у них в ихних колхозах, о ихних достижениях и неурядицах, чтобы все на чистой воде было. И мы отчитывались. Получилось вроде чистки. Прямо — не люди, а герои государственного смысла. Оркестр балалаечников играл под рояль до трех часов утра. Всех председателей обнесли чарочкой. Выпили, конечно. Старухи и те танцевали с нами. Пьяных не было. А с речами —



заметь, больше женщины выступали, у них трудодней больше, они власть забирают, у них воля на государственность проснулась...

— С декабря месяца по посевную был я по найму через колхоз на рытьи Большой Волги — канала... там на канале я и Антона Ивановича повстречал... Ну, приехали под Углич по такому же делу, как сейчас на дороге, — возить землю, только не для дороги, а для будущего канала. Роем, возим. Но это не главная присказка. Работали там — ну, мы, колхозники, рабочие, красноармейцы, инженеры, а кроме этого заключенные. И было у нас все разбито по бригадам, — комсомольские бригады, бригады сочувствующих, вроде меня. Были и бригады заключенных и гопа, то есть шпаны. И было переходящее красное знамя, — значит такое знамя, которое переходит к лучшей бригаде. Когда я приехал, знамя было у комсомольцев. И вдруг видим, на нашем участке прет и прет вперед ссыльная бригада. Я думаю, — с чего бы это? — ведь против ихнего режиму канал роется, против них вся страна живет... И был у меня разговор с ихним бригадиром, я его спрашиваю: «Ты что же, в самом деле коммунистом стал? — так и прешь со своей бригадой, на что тебе красное знамя?» Он помолчал, покурил, — говорит: «Нет, мы не коммунисты, — обернись дело... да дело-то повернуться не может, не может повернуться дело, — и мы почему кроем? — потому хотим жить в строю, как все... хотим в рое жить и пользоваться советскими законами, а кроме труда нам податься некуда!»... — Ты понял, Сергей Иванович, ай нет?..

Покурили. Роман и Ефим Архиповичи съели картошку, запрягли лошадей. Сергей Иванович вернул-

ся к ухабам и к автомобилю. День шел в заповедии, жар спадал. Роман Архипович поминал о реке Лухе и деревне Гоголихе. Арбеков видел Гоголиху, но не был в ней, в этой знаменитой деревне. Лух течет по болотам, среди камышей, так зарастает камышами, так облеп трясинами, что до середины его добраться невозможно, — так течет, что в нем водятся двукилограммовые караси, что жители прибрежных деревень не могут в нем даже купаться, ибо по тине нельзя дойти до воды. И посредине Луха, в том месте, где Лух сливается с Люлехом, расположен остров Гоголи, а на острове — колхоз Гоголиха. С марта месяца до конца ноября, а то и до середины декабря, в Гоголиху невозможно ни пройти, ни проехать, — и не каждый даже проплывет туда на ботнике, ибо надо уметь не заблудиться в тростнике и не утопиться в тине. Славна Гоголиха, кроме колхозного льна, рыболовной артелью и охотниками, убившими прошлой зимой, несмотря на строгости законов, семь лосей. И еще славна комарами и ягодами. А еще славна — страшными преданьями. В Гоголиху можно просхать только зимой на санях, когда вода и трясина промерзнут до глубин. Ездил к Гоголихе Сергей Иванович с Василием Васильевичем Зиминим, который обследовал льны и сельсоветы, были в гостях у председателя яковлевского сельсовета, у Киры Ивановны Бычковой, выведшей колхозы своего сельсовета весенним севом на красную доску, вдовы и матери троих детей, учащих так же, как дети художников. С Василием Васильевичем и с Кириой Ивановной были разговоры о колхозах, о колхозниках и единоличниках, — и выяснилось — по палехскому району — о единоличниках, что *единоличниками остались всего*

лишь те, кто вообще намерен бросить сельское хозяйство и деревню, нашел себе новый труд в Иваново, в Москве, в Сталинске, в городах и на заводах; выяснилось, что нельзя равнять труды колхозника и единоличника,— колхозник работает и умней, и продуктивнее, и лучше... Роман: Архипович помянул о городе Угличе,— Вакуров, Котухин и Маркичев были на озере Севане. Озеро Севан будет спущено с гор, разольется по Армении новыми семью озерами, оросив арменские пустыни и кинув электроэнергию всей Закавказской федерации республик. А Углич...

Сергей Иванович в Палехе получил письмо — от реставратора Павла Павловича Калашникова, ехавшего от Москвы до Суздаля.

«Высокочтимый Сергей Иванович!..

Имею честь сообщить Вам, что складень Ваш, икона пресвятой богородицы, мною реставрирован и отнесен на Вашу квартиру. Икона, как я уже Вам говорил, ярославского письма и оказалась после расчистки относящейся к концу XVI века. Не знаю, задумались ли Вы, Сергей Иванович, о том, что Вы живете неподалеку от места, где разыгралась как раз в конце XVI века одна из таинственнейших страниц нашей истории. Я подразумеваю Углич и убийство в нем святого царевича Дмитрия. Не была ли наша икона написана в те величественные времена?.. Я вспоминаю об Угличе потому, что в газетах я прочитал о затоплении этого древнего города при постройке большой Волги. Прошу Вас, достопочтимый Сергей Иванович, прислать мне причитающиеся за реставрацию деньги, так как я возымел намерение безотлагательно съездить в Углич и поклониться величественной его старине».

Тысячелетняя Волга, песенная река, затопит город убийства, город темных русских страниц, где то ли убивали, то ли не убивали царевича Дмитрия, ибо то ли был, то ли не был царевичем Дмитрием Григорий Отрепьев,— и пусть песенная Волга затопит эти русские пергаменты.

Сергей Иванович жил в Палехе, чтобы отдохнуть, с друзьями-художниками, с женой и ребенком. Он просыпался вместе с сыном и солнцем. Он ходил и ездил в леса и в поля кругом. Кувшины для воды и крики для молока он приспособил под венчики цветов, запахи которых превращали избу в лесной шалаш и сладко тяжелили голову.

От Александры Михайловны он узнавал несложные события села ее понятий,— о том, что соседская корова потравила у вторых соседей огород,— о том, что Форсик—надворный пес — всю ночь скулил, надо-быть, или за клубникой лазил в огород, либо парочка забралась в сад,— о том, что приносили ягод, а к Салапину приехал на побывку внук. Сергей Иванович наблюдал за сыном, за тем, как возрастает человек, будущий гражданин бесклассового общества,— как у него нарезались и выросли два верхних зуба,— как ест он кисель, и жась им до бровей,— как приучивается он к горшочку,— как он говорил сначала «ап», «па», и сказал наконец «папа»! — как кошку он зовет «ких», и кур зовет «ких», и коров зовет «ких», и вдруг корову назвал «му», а через два дня произнес «ам», «ма» и сказал наконец «мама»! — как сначала он стоял, держась двумя руками и боясь пространства под собою, как стал держаться он одной рукою,— как вдруг он обе опустил руки, у стога с сеном, взяв в руки сухой лепесток, не заметил, что стоит на собственных своих

ножонках, заметил, поразился, испугался и возликовал, возликовал перед замечательным открытием, не меньшим для него, чем неизвестное ему открытие Америки, перед открытием того, что и он может стоять на своих собственных ногах!..— как в зеленые сумерки вечеров над белой кроваткой пела мать на родном своем языке:

Иявнана, вардо нана,  
Иавнана нэо..  
— Фиалочка бай, розочка бай,  
Фиалочка баю-бай,—

и как сын подпевал матери, усыпляя самого себя, очень тихо, «иев-а-а»!.. Любовь — это ощущение жизни, как мир, и мира, как жизнь. Любовь пронизывает все, комнату, воздух, платье, цветы, стол, занавеску. Любовь — это больше, чем созерцанье Палехского музея...

За Палехом, за Палешкой сосновый бор Заводы, он пахнул хвоей; за Заводами рос Кудашевский лес, он вырублен; на просеках буйно цвела, а потом созрела земляника, этот сладчайший плод и чуть горьковатый, как любовь. За улицей Голикова, по дороге в Подолино, Оболенское тож, росла березовая роща и под березами росли фиалки, вечерами в березах бродили туманы, и роща пахла березовой горечью, сладкой, как поцелуй на рассвете, как ручки восьмимесячного сына на шее отца. Дягилевский-берендеевский лес пах можжевелевой горечью, в нем бродили лоси...

Художники заходили посидеть у крылечка, покурить, побеседовать,— обсудить начинанья назавтра после рабочего дня, и доказывали, что обязательно надо побывать на массовом гулянии в Кузнечихе, потому что там старинная водяная мельница, глу-

бокий омут и гуляют там на плотине над омутом, и на плотине над омутом водят хороводы.

В среду был базар. Все село по делам и без дела ходило по базарной площади, в пять часов утра мужчины и женщины, товарищество и колхозники, заслуженные и незаслуженные, кланялись, беседовали, расходились и встречались вновь, покупали и не покупали. Продавали: молоко, масло, сметану, яйца, ягоды, свинину, баранину, телятину. Художники предпочитали мясо покупать «на ногах», — то есть, сложившись, покупали бычка, свинью или овцу. Где-нибудь здесь же у базара пайщики резали, свешивали и делили закупленное, иной раз «обмывали ножки», те самые, которые пойдут в традиционный студень.

В субботу, перед баней, приходил друг Алексей Иванович Ватагин с бритвой и с машинкой для стрижки, со страшными ножницами, и подстригал, и брил, как заправский парикмахер, посреди сада перед баней, посадив полуголового остригаемого на старый пенек. Воскресенье всегда звенело песней. Палехский музей был рядом, через улицу...

Сон в благоуханьи цветов и в удушьи избы, когда окна закрыты от комаров, — кажется, что и сны тогда пропитаны запахами, — сон не ограничен, — и дневная явь настоящего, реального, бывшего вчера, бывшего десять лет тому назад, бывшего до твоего рождения (ведь никто не помнит того времени, когда он не был, и того момента, когда он начал быть), — в ночи и в запахах цветов явь смешивалась со сном, строя сонные композиции, не менее сложные, чем композиции палехских мастеров, раскрашенные миром, пространством, числом и временем...

## РАССКАЗ РОМАНА АРХИПОВИЧА О РАСКОРЧЕВАННЫХ МОЗГАХ

*«..наш суровый, боевой, пролетарский век .. уменьем, сказкой... социалистический результат десятилетия»...*

Сергей Иванович слушал Романа Архиповича в день, когда он получил письмо от Павла Павловича Калашникова.

Роман Архипович рассказывал:

— Ты правильно заметил,— по старой жизни все тогда мечтали, а не все, так многие,— выйти в Сафонова, стать богатым, собственником, хозяином самому себе и мастером,— мечтали о богатстве. Тогда был такой строй, и я тебе расскажу о раскорчеванных мозгах и о том, как меня убивали. Родились мы с Антоном вместе, в слободе, теперь на улице Голикова, пятьдесят семь лет тому назад, по году учились грамоте, а затем пошли в мастерские к Сафонову, учились шесть лет...

Сергей Иванович думал, слушая Романа Архиповича:

«...конец восьмидесятых, начало девяностых годов, эпоха «мелких дел», Чехов и только что введенные земские начальники. Палех. Иконописцы. Водка. Изба, рассвет, печка. Лучина только-только сменена керосином, который тогда назывался «фотоген». Глиняный умывальник. Хлеб, намоченный в квасе, лук. Отцовские валенки. Мальчик бежит по глубочайшим, синим в рассвете снегам. В мастерской пахнет олифой и махоркой. В мастерской темно и страшно, и каждая рука старшего может миловать и бить. На стенах мастерской снаружи — гро-

мадные золоченые орлы. Первый урок христова «голичка». На третий год — «бецатала»... Посадить на эту «бецаталу» Павла Павловича Калашникова...»

Роман Архипович рассказывал:

— Окончили обучение вместе, в один год, каждому не было еще шестнадцати лет, написали по «выходной», положил нам Сафонов по пятнадцать рублей жалованья, работали мы у него не в мастерской, а на кирпичном заводе, глину месили вместо иконного дела, работали целый сезон. А осенью приехал, к Николе зимнему, наш дядя на побывку, Платон Афанасьевич. Дядя наш, надо сказать, от Сафонова отбился, — работал у хозяйчика Панкрышева, в Москве. Панкрышев тоже наш палехский, только поменьше Сафонова. Дядя сказал, — чего, мол, ребята у Сафонова глину месят, я их к Панкрышеву определяю, — и взялся нас отвезти. Вышли мы в три часа ночи, дядя наш, я да всежизненный друг мой и убийца Антон Иванович. Было это на третий день после Никола, а с самого вечера замела метелица. Матери проводили нас до Красного. Шли мы пешком до Шуи, тридцать верст. Вещей у нас было по котомке, по паре портянок, рубаха, гребешок, сапоги на сменку валенкам, аржаные ватрушки с картофельной пюре в подарок от матерей, и все, — подштанников в то время нам не полагалось. Снег глаза лепит, ветер под лопатки забирается, снег под ногами, как пески зыбучие. Дядя наш Платон Афанасьевич с вечера выпивал с родителями на прощание, он отчаялся, говорит: «волки, гляди, не напали бы!» — и слышать, дрожит дядя. Ночь померкла, день рассвел, а мы все идем и идем, как волки след в след, и чудится, что на самом деле воют волки... Я тебе скажу, Сергей Иванович, про се-



бя, как я понимаю,— нет слаще человеку встретить человека,— пришли мы в Шую, сидели в трактире, я Шую впервой видел, размерами домов поражался, а в трактире я человеческие слова слушал, и они мне теплее тепла были. А про ту ночь я сейчас вспомнил потому, что до сих пор боюсь волков и всякой волчьей породы — и нет для меня приятней встретить человека, человека я не боюсь и люблю человека, а Антон человека боялся и не любил, как я теперь понимаю... Сели мы в поезд, опять впервой за нашу жизнь, в вагон третьего класса, и показалось мне после деревни, что попал я в княжеские хоромы — после нашей деревни, после нашей избы, где жил я на печке, под печкой жили куры, а за печкой теленок с поросятами, я впервой тогда видел окна без рам и — чтобы стенки поднимались. А в Москве в первый же день я о цивилизацию морду расшиб. Дядя наш Платон Афанасьевич передал нас хозяину Панкрышеву, Панкрышев положил нам жалованья на его харчах восемь рублей в месяц и дал нам три дня отпуска, чтобы посмотреть Москву. Земляк повел нас к Филиппову в булочную, — знали, куда сводить. Этот музей надо понять. Жили мы в деревне, хоть и с иконами, а все же на хлебе и при скотинке, при муке, при молоке, при масле, плохие, а все же хлебобобы, а пришли к Филиппову, я, теперешний колхозник, а тогдашний мужик, поглядел я на плюшки-ватрушки, на калачи, на ромовые бабы, на сахарные баранки, на пирожные безе и наполеоны, — не перечесть, — и не узнал я, мужик, ни сала, ни масла, ни муки-матушки!.. Были мы втроем, провожал нас малец чуть нас постарше, у дверей стоял министр в золотых нашивках, двери господам отворял. Надо-быть, министр увидел, как мы слюни

распустили, цыкнул на нас, землячок крикнул, — «беги!» — я со стражу от министра к людям, а людей было много. Вижу, один бежит вроде меня ко мне наискосок, я от него хотел увернуться и — две недели с синяком ходил по всей личности, — в зеркало я врезался вместо людей, морду разбил о цивилизацию. Я ведь допрежь представить себе не мог и не слыхивал, что такие зеркала бывают.

Сергей Иванович думал, слушая Романа Архиповича:

«...Да, от Палеха до Москвы.. Палех, перепутавший семнадцатый век с крепостною деревней графов Бутурлиных, поднятый и разоренный сафоновским и панкрышевским капитализмом... Деревенский парень в шестнадцать лет и Москва. Надо полагать, что парню было бы не более странно, если бы его вместо Москвы занесло в Нью-Йорк. Действительно, зеркало филипповской цивилизации отражало действительность совсем не так, как видел ее Роман Архипович.. Но Павел Павлович Калашников не растерялся б около калачей Филиппова».

Роман Архипович рассказывал:

— Люди тогда мечтали о богатстве. Богатство было единым светом в окошке. Богатство — сыт. Богатство — одет и обут. Богатство — от тебя зависят. Богатство — власть. Иконники у Панкрышева — почитай все мечтали о богатстве и лезли в него, как рыба в вентерь, — а не выходило — пили... А богатство, я тебе скажу, Сергей Иванович, пословицами — не пойманный не вор, а стыд не дым, глаза не выест, — а трудом праведным не наживешь палат каменных, — ну, и с поклонов шея не болит, — национально-православные пословицы... А ведь по совести сказать, земским начальником да

Сафоновым каждый палешанин, да и всякий мужик так был поставлен, что ему мерин иной раз дороже жены, дороже сына, особенно если сын малолеток, и не поротый, — за битого двух небитых дают. Почему мы тогда поехали по шестнадцатому году в Москву? — тогда говорилось — «от нужды» мужик работает, а правильнее сказать — от голоду; мужик, между прочим, для крестьянина, а теперь для колхозника еще более, слово обидное... На самом деле — от трудов праведных не наживешь палат каменных, — откуда Сафонов пошел? — из бурмистров, — барина на мужиках обманывал, мужиков на барине!.. — и послушать все истории богатства — тот купца придавил, тот вдову окрутил, тот обманул, этот ограбил, а сей — обворовал!.. И все богом прикрито и нашими иконами, а как иконы делаются — мы знаем, сами их пишем. Капитализм, в книгах пишут, в свое время положительную роль играл, — этого я за свою жизнь не видел, это раньше нас было. Старый мастер пьет, в нищету сваливается, значит, неудачник, сам виноват. Человек богатеет, значит, хороший человек, удачник. А что он, может, жулик, это ему прощалось. И самое главное — темнота, — ух, какая темнота! — в двух шагах не видно и непонятно, и узнать нигде невозможно!.. что советская власть знаменито сделала — это глаза развязала, если не я сам, то мой сын все узнать может по своей воле. Молодость — всегда знать хочет, а мы... Стало быть, жили, писали у Панкрышева в мастерской, у Рогожской заставы.

Сергей Иванович думал, слушая Романа Архиповича: «... Рааасссия!.. Павел Павлович!»

Роман Архипович рассказывал:

— Пути было для нашего брата, как в сказке, —

направо поедешь — смерть, налево — то же. Я тебе, Сергей Иванович, не об Антоне рассказываю, а о себе, как мне, а не ему глаза и мозги раскорчевывали. Мастер я был средний, и работа была средняя, полумужик, полупролетарий, так сказать по-ленински. Я свое отработывал — и все. Революция, между прочим, началась не в Пятом году, а раньше, и не сама она пришла, а сделали ее люди, пролетарии. Если сказку обернуть, — направо ехать — в богатство к Сафонову и Панкрышеву, налево — в революцию, а я, палехский богомаз с крестьянским паспортом на год сроком, жил посерединке, за камень не заезжал. Любил читать книжки, стихи любил, ходил в воскресную школу, ну, и жил. Теперь скажу об Антоне, о моем убийце. Женились тогда в определенное время, так скажем, распределили рабочую силу. Самые хорошие свадьбы были перед покровом да в рождественский мясоед, — мы женились после петрова дня, и женились-то в один день, батюшка на сенокосе был занят. После женитьбы и обозначились наши с Антоном Ивановичем жизненные пути. Антон говаривал мне: — «Толку из тебя не выйдет, Роман, проживешь ты жизнь зазря, ты все хахи да хихи, а жизнью не пользуешься!» — я на самом деле был веселым человеком, и был я очень сметливый, но и озорковат был по молодости лет, — я и сам иной раз думал, что Антон Иванович имеет резон против меня. Я любил газетку почитать, любил ходить в театры, особенно к дедушке Коршу, — ну, и в трактир Егорова, в Охотном, где теперь небоскреб, захаживал послушать орган. Был у нас кружок самообразования, в него Маркичев и Иван Зиновьев захаживали, — палехская молодежь складывалась процентами от заработка, покупали книги

и сообща читали по вечерам потихоньку от хозяина. Антон Иванович не состоял в этом кружке, но надо правду сказать, — он меня покрывал перед хозяином, иначе мне не сдобровать бы. К женитьбе жалованья мы получали уже по тридцать рублей, не плохое жалованье по тогдашним деньгам. Женитьба по тогдашнему быту, — женился — остепенился. А ко мне степенство не пришло. Антон свою жену в деревне оставил, а я свою с собою повез, снял комнату по соседству с нашей мастерской, — «пушай, думаю, живет при мне, пушай подивится!»... — Просыпаемся утром в нашей каморке — смеемся, нам весело вместе. В мастерскую мы приходили в шесть часов утра, — а у Антона Ивановича краски растворены, все в порядке, он сидит — работает молча, — а у меня краски так себе, ну, и работа — тоже... Песенку пою. Через год после женитьбы у меня жалованья все — те же тридцать, а у Антона Ивановича — тридцать пять. У меня соберется монета, я раньше срока уде-ру из мастерской, накажу Антону: «Если, мол, хозяин зайдет, то так, мол, и так, только-только вышел, надо полагать до ветру», — я заберу мою супругу и туды-сюды, — тогда кино объявилось, я все картин-ки осматривал. Антон Иванович — сидит, работает. Чтобы сказать про него — скупой человек, — нельзя. Он аккуратный был. Все у него в порядке было, но лишнего гривенника он не тратил. Детишки появи-лись. Мои у меня со мною в Москве, а у Антона Ивановича — в деревне, на вольном воздухе... Лет через пять, как мы стали к Панкрышеву на работу, Антон Иванович в деревне новый дом поставил, пятистенку, с резными наличниками, через семь ку-пил богородскую телку горбатовского красного рога-того скота породы, — купил полукровного жеребен-

ка. Его жена к праздникам, на масляную в Москву приезжала, жила в моей комнате, — пава, городское пальто с лисьим воротником. А у меня, как родители померли, изба стоит заколоченная, еще родительского строения. А у меня как была у жены в приданом суконная борчатка, так она в этой борчатке и шеголяла по Москве, ходила со мной на галерку к дедушке Коршу. Только — разве что моя жена грамоте научилась и вроде меня газетку читала...

Поколение Арбекова не застало России до Пятого года, эпохи капиталистического разраста, строительства железных дорог и заводов, догнивания феодалов, разбивавшихся о Пятый год и о Цусиму, — эпохи, когда назревал Пятый год, когда возникали первые ручки пролетарского сознания, ища свои русла к Красной Талке и к Красной Пресне еще задолго до Талки и Пресни, когда и Роман Архипович и Антон Иванович на самом деле жили в дремучем мраке сознания, каждый по-своему, — этот Роман Архипович, человек из переулка истории. Для поколения Арбекова та эпоха прошла сквозь их детство.

Роман Архипович рассказывал:

— Любил я людей, и люди меня любили, — сколько хороших людей мимо меня прошло!.. — а вот Антон оказался всежизненным спутником. Я самолюбивый был и сознаюсь, — завидовал иной раз Антону Ивановичу. Я ведь видел, как он восходит, как его все за это уважают. Ну, знал я, что он и на сторону работал хозяйскими красками, и золотице можно было через него из мастерской достать, и редкие краски, — так ведь — то хозяйское было, а кто хозяину не враг?.. Ведь таких, как я, — почитай весь Палех, и Вакуровы, и Маркичевы, и Котухины, и Зубковы,

Вся наша тогдашняя молодежь, а Антон — один гнет и гнет свою линию, — глядишь, поклонится хозяину в пояс и скажет, — покорно, мол, благодарю, не извольте поминать лихом, открываю от сегодняшнего числа свое собственное дело!.. Между прочим, у Антона Ивановича другие мечты были, он по-другому рассуждение имел: «желаю я ни от кого не зависеть, желаю сам себе быть хозяином, — подкоплю еще денег до нормы, как я себе задумал, и поставлю у себя в Палехе на берегу Палешки льнотрепалку и льномаслобойку, налажу сельское хозяйство и буду жить сам по себе!»... — Бывало разговоримся с ним, и я размечтаюсь, — дом у меня будет в Слободе, лошадь лучше, чем у Антона, что, мол, я хуже его мастер, что ли, и не могу как следует разных спасов разрисовывать? — С вечера говорю моей Фиме: «разбуди меня завтра чем свет, остепеняться надо, зайди в полдень в мастерскую, когда все обедать будут, я тебе доску дам залевкашеную, краску, — буду дома по вечерам писать, — весною ты в деревню поедешь, — должны мы копить, как Антон!» — Работая, не разгибая спины, до рези в глазах, а день на третий вдруг задумаюсь: «На кой леший мне лошадь, ежели я в Москве нахожусь!? — и почему мне мучиться без Фимы в молодые годы!?» — загрузу, выпью, угощу Антона Ивановича, и пошло все по-старому... Надо сказать, Пятый год мне помог, а также наш кружок самообразования. Антон Иванович Пятый год сторонкой прошел, а я был со всеми, с товарищами. Помните, книжечка такая была «Паук и муха»? — я ее раз двадцать перечитал, — замечательная книжечка!.. Началась русско-японская война, затем революция; слышим, в Палехе Сафонова и Коровайкова сожгли, в Сафонова стреляли.

Страшно тогда было и весело, — на такую силу, на царя, рабочие руку подняли, а я еще от деревни не обсох. Я всем сердцем революции помочь хотел, — а как, не знал. Царь революцию задавил, в Москве революцию разгромили семеновцы, и я затаился, как все. — «Ну, раз ты победил вместе с Сафоновым и Панкрышевым, — твоя сила, только отсюда никак не вытекает, что твоя правда, и никак не выходит, что должен я на Панкрышева работать не покладая рук, силу его против нас укреплять, пропади он пропадом!»... Я вам сказал, Сергей Иванович, что я, как в сказке, направо поедешь — к Панкрышеву попадешь, налево — в революцию. Я за камень очень не заезжал, я тогда еще от деревни не обсох, и опять же Зубковы, Маркичев, Хохлов, они грамотней были, а я — ох, как темен был!.. Царь победил — надо покоряться. А Антон — работает, надеется, старается, он от сказочного камня вправо свернул, революцию он не одобрил, — «не дело, говорит, хочешь хорошо жить, — работай, никто тебе не мешает, разбогатеешь, будет тебе почет!» — Работай!.. — а как так работать, чтобы мне мои труды вернулись, а не Панкрышева растили!? Мы оба с Антоном платичниками были, доличниками, вроде портных, святых в одежды наряжали, скука, а не работа, а работаем на людскую темноту и на надувательство. Произошла реакция после Пятого года, все притихло, царь в силе. Празднует свое трехсотлетие. Вокруг тринадцатого года нам, иконникам, громадная работа была, трехсотлетие дома Романовых, года за три, почитай, был составлен царский маршрут, и везде обновлялись по этому маршруту церкви, в Москве, в Костроме, в Суздали, в Нижнем-Новгороде. Антон Иванович в отъездки ездил



приказчиком, большие деньги зарабатывал, — весной четырнадцатого года заложил на Палешке льномаслобойку, в силе человек, в почете, все ему кланяются. А я в Москве, борчатка на моей жене совсем износилась, дети до школы доросли, рты о себе сказывают, к Коршу я уж перестал ходить, гривенники на карандаши и на тетрадки пошли детям, дело на расчет наклонялось...

Это Сергей Иванович знал. Все было б совершенно ясным, если б это было эпоху тому назад, если б не было революции. Антон поставил бы маслобойку. Роман Архипович похоронен был бы на Рогожском кладбище, быть может, спился б. Рядом с ним полегла б его жена. В Москве остались бы трое парней, быть может, иконописцев, быть может, ломовых извозчиков, быть может, рабочих с фабрики Гужона. Это был постыдный труд, нечестный труд — иконописание. Люди, конечно, не уважали своего труда. А это самое страшное — не уважать свой труд, то есть, по существу говоря, не уважать своей жизни. Роман Архипович был и жил перекати-полем. Антон... происходило трехсотлетие дома Романовых, торжество империи! Антон расписывал церкви по пути империи от Ипатьевского монастыря до Москвы. Антон был в режиме. Конечно, Антон был бы в почете. Роман был бы похоронен, как жил, перекати-полем, крест на его могиле сгнил бы в два года, и все было б честь по чести забыто... А жизнь, когда человек — не человек, а вобла, а икринка от воблы в потоке «империи»...

Роман Архипович рассказывал:

— В четырнадцатом году началась война. В пятнадцатом нас, бородачей, белобилетников, взяли в сто восемьдесят второй пехотный запасный полк

воевать за царя-батюшку Махнуло меня в армию с пятнадцатого по двадцатый год. Из царской армии в Красную перешел я добровольным, хоть и беспартийным большевиком,— вещь понятная,— я самого себя открыл. Когда я в Палех приехал, по осени двадцатого года, после ранения, Фима моя жила в избе, совсем в землю зарывшейся, точно шапка набекрень на голове у казака, и кроме мерзлой картошки ничего у Фимы в доме не было,— куда там— корова или поросенок — тараканы не жили!.. А рядом с моим домом стоит дом Антона Ивановича — полная чаша. Антон раньше меня от солдатчины отделался, вышел в возраст с царского фронта и поселился на скопленную жизнь. Сейчас я вернусь разговором к Антону Ивановичу, а пока сообщу вам революционные мои мысли. Я, оказывается, и самолюбивый был, и место имел себе в жизни. Не уважал я в старой России трудиться, и не то что трудом праведным не наживешь палат каменных, а сами посудите — иконы!.. Началась революция, батюшки мои, прозрение глазам!.. и понял я — вовсе я не был бездельником и ветродуем, а не хотел в очередь под ярмо становиться, не гнался за грошем, грош ему ломаный цена! — Это мне революция объяснила. И не один я был такой, у которого с глаз повязку сняли, а миллионы и миллионы русских людей. Какие чудеса наделала революция для миллионов людей трудового народа... — Антон Иванович до революции — это, да, авторитет,— и вдруг после революции понял я — ничего подобного!.. И суди сам, Сергей Иванович, я ведь на самом деле был до революции вроде ветродуя,— а как началась революция, я работаю и работаю не покладая рук. И — чего я не боюсь — это работы. И от чего я страдаю

и чего больше всего боюсь — это, если плохо работают сейчас у нас и не только у нас в Палехе, а во всем Союзе, я теперь государственно думаю!.. Воздем, вроде Вицина, я не стал, — не стал даже партийным, вроде Колесова, — я сочувствующий бедняк. Богатым я тоже не стал, — а спусти со всех мужиков по нашим местам штаны — под штанами подштанники, лаптей больше не носят. Работа!.. мне пятьдесят седьмой годок идет, старик, подагра, раны, а я на рысях живу и все в работе и в удовольствии. И вот, что еще оказалось, — правильно, оказывается, я жил до революции, справедливо, — вот что чуднее всего оказалось!.. — конечно, можно было бы и лучше жить, итти на драку с царем еще с Пятого года, — но тогда я был бы героем, а не богомазом, а я простой человек и бывший иконник. Я весело жизнь прожил! — я по театрам ходил, газетки читал, книжечки, — любимая жена не мучилась от меня в одиночестве в молодые наши любовные годы, мы проснемся с ней утром и хохочем, нам весело и беззаботно!.. Не будь революции, — что бы со мной было? — я бы по детям сдохнул бы, а теперь мой старший сын — дорожный техник. Но я до раскорчевывания мозгов еще не досказал. Этому делу впереди. Приехал я домой — беспартийный большевик, пошел я ко всежизненному моему другу Антону Ивановичу, поцеловались троекратно, по порядку, сели за стол. Дом у него — хоромы, хозяйство — полная чаша. Не вышло у нас разговора. Антон спрашивает меня: «Кто же ты будешь теперь?» — Я ему отвечаю радостно: «Я за большевиков!» — Он крякнул, сказал недовольно: «Таак»... — «А ты кто будешь?» — спрашиваю я. «Эсер», — говорит, и крякнул. Я говорю на радо-

стях: «Карта твоя бита, Антон, зазря лучшую половину жизни прожил, зазря трудился-копил!» — Антон Иванович отвечает невесело: «Выходит, что и зазря, было у меня в банке восемьсот рублей на текущем счету, я их получил обратно, когда пуд муки миллион стоил». — Я ему: «Революцией, стало быть, недоволен?» — «Просчитался». — Я ему: «Надо заново жить, ты ведь в обществе живешь, стихия против тебя попрет, тебе дальше еще труднее будет, Сафонова раскорчевали, Юрова, Парилова, Белоусова, Солоутина, Шалагина ликвидировали, нашего Панкрышева похерили, — ты, говорят, с Панкрышевым дружбу ведешь? — Ты льномаслобойку зазря завел, ты ее лучше обществу отдай, а то отберут». — Он: «Всю жизнь я во всем сам себе отказывал, а людей не обижал!» — Я ему: «Ну, насчет того, обижали мы или не обижали людей, — помолчим, — иконы-то мы ведь вместе с тобой писали, — и добавляю: — Антон Иванович, всежизненный друг, чтобы ты меня понял справедливо, первое и последнее тебе слово скажу — я с тобой, как с братом, разговариваю. Ну, прожили вместе жизнь, знаю я тебя за трудовика, ум твой знаю, ну, и темноту нашу общую знаю, ну, и Пятый год помню, как ты его сторонкой обходил, — не об этом речь, — винить я тебя не собираюсь. Решим, что ни в чем ты не виноват, — да жизнь до революции была виновата, а ты опирался на тот жизненный строй, и он тебя обманул, а не революция, пойми ты мою философию!.. — другие тебя не так знают, как я, видят — водится с Панкрышевым, видят — богатый, стало быть — жулик, вор непоиманный, если хорошо поспел в богатстве!.. Ты говоришь, просчитался с революцией, — пересчитывай заново, жизнь дороже

твоих богатств, супротив новой жизни не становись!.. — Ты с пуда на маслобойке берешь два с половиною фунта, — как же ты не кулак? — у тебя рысак для праздников, а я от Шуи пешком драл, раненый. Отдай маслобойку обществу, — приди, поклонись, поклонившись скажи, — жертвую маслобойку революции — и будешь ты, как все, — не отдашь, силком отберут — и будешь ты, как Панкрышев, последним человеком!» — Уперся Антон, спрашивает: «Был я жуликом или нет?» — «Ну, был, немножко, говорю, скажем, что — нет!» — «Своим трудом я добро накапливал?» — «Своим-то своим, да иконным, — ну, скажем, — своим». — «Значит, все это мое, и, если у меня что отберут, значит — ограбят, значит — грабители, значит — и ты грабителям помогаешь. Маслобойка моя, — на свои деньги ее делал, не хотят, пусть не ездят на мою маслобойку!..» — Я ему: «Антон Иванович, — не ездить же революционному народу в другую волость за двадцать километров! — а с другой стороны, у тебя есть маслобойка, а у других нет потому, что ты в темной воде рыбу ловил!..» — Не вышло у нас разговора. Ушел я от него в сердцах, — жизнь с человеком прожил, другом человек был, — а второй раз к человеку подойдуться трудно.

Сергей Иванович вместе со своим поколением отлично помнил ту замечательную эпоху перестроения правд, убеждений и верований, эпоху, когда все земли теперешнего Советского Союза доказывали свою правоту всем, и в частности — винтовкою и топором в руках, когда в метели событий все тверже и крепче вычерчивалась рука пролетария, бравшая в себя и правду, и время, и земли, и людей.

Роман Архипович рассказывал:

— Теперь я расскажу тебе, Сергей Иванович, о Панкрышеве. Был он лет на двадцать нас старше. Ну, был полный буржуй. Старший сын его и теперь в Москве адвокат, двое других сыновей в белой эмиграции, дочь в Москве замужем за инженером. В отличие от Сафонова, Панкрышев был вполне грамотный человек, хоть и богомаз,— ему грамота против Сафонова помогала. Дача у него для детей в Малаховке была, а сам всегда в Палех приезжал, рыбу удил в Люлехе, с раннего утра чай гонял, к чаю к нему могли все, кому не лень, приходиться. Он сидел, как венгерец, в пиджаке под названием пижам, лаковые туфли на босу ногу,— и рассказывал перед всеми про свои капиталы, про дома, про детей, как они учатся, какие у него приятели графы Уваровы, археологи. У нас так и говорили: «Пойдем к Панкрышеву чай пить, слушать, как хвастает!» — И так целое лето, пока всего не выбалтывал. Со стороны поглядеть — добрый человек Панкрышев. Пришла революция. Разорили Панкрышева во моргновение ока. Он подался в Палех — и — то ли сам сжег, то ли подпалили его — сгорел его дом. Исчез Панкрышев. Новое лето пришло — появился Панкрышев. И — не узнать человека. Бородатый, в бороде крошки, босой, в портках надо поискать рванее, да негде, рубаха до пупка разорвана, а на груди оловянный крест. Жить ему негде, ночевал в разоренном кирпичном берлине, в Заводах. Целые дни ходил по Палеху под окнами и предлагал календари, а календари прошлогодние. Вместо икон календарями торговал. И — совсем ненормальный человек. Предложит календарь, его, конечно, не купят, а он привяжется к человеку и расскажет ему, какой он был богатый и знаменитый и

что у него было, а теперь пропало. Не дай бог спросить его, — неужто уж так жизни обернулась, что опорок ты не можешь достать себе или рубашку зашить? — целый день будет рассказывать, как его разорили. Были наши в Москве, слышали, — Панкрышев и в Москве по трактирам, где больше богомазы бывают, с прошлогодними календарями ходит, зимой босиком. — «Дети-то что ж смотрят?» — спрашивали. — «Дети, — говорят, — от него мучаются, ничего поделатъ не могут с ним, сын сколько раз его обувал-одевал, а он свое». — «Где ж он живет-то?» — спрашивали. — «У сына», — говорят. — «Чудно, — сын адвокат и такое допускает». Были наши опять в Москве, зимой. Один наш зашел к Панкрышеву. Позвонил в квартиру сына. Отперла незнакомая женщина. — «Вам, говорит, Егора Парфентьевича? — пожалуйста в его комнату!» — Входит, картины висят фряжского стиля, ковер, диван, господский порядок, — и выходит к нему Егор Парфеныч — в сером костюме, в желтых баретках, барин-барином, от дореволюционного обличия только одна борода, да и та чистая и причесанная, не то, что у нас в деревне, в крошках. Диву дался наш парень, спрашивает: «Как же это, мол, Егор Парфеныч, какое у вас обличье-то в Палехе, у нас, мол, на вашего сына пеняли!..» А он ему: «Сын у меня — не нахваляюсь, сам видишь, как я живу дома у сына, — а хожу я босой на зло, чтобы в рыло людям тыкать, до чего людей в революции доводят, что от революции с людьми получается, — нате, мол, мерзавцы, любуйтесь наглядно, что от революции с хорошими людьми получается!..» А вечером в тот день его видели в пивной — входит с календарями, на голой груди крест, борода клочьями. в крошках, ноги бо-

ые, а зима. Все в Палехе от Панкрышева — в сторону, — и появился у него — вдруг мой всежизненный спутник Антон — время вместе проводили. Умер Панкрышев за лето до коллективизации у нас в Заводах, в яме, босой, вонючий, со крестом на груди, — его никто хоронить не хотел, насилу схоронили, а в гашнике у него золото и бриллианты защиты. Мальчишки после его смерти в яме играли и нашли там секретный склад, копченую колбасу, печенье, две бутылки портвейна. Вот тебе, Сергей Иванович, какая сверхъестественная сволочь этот Панкрышев! — а первый друг Панкрышева — Антон Иванович.

Сергей Иванович подумал, сопоставляя иконника Панкрышева с иконником Калашниковым.

«...ну, да, — эти были бы вместе. Павел Павлович сидел бы за геранями на стульчике у Панкрышева, смотрел бы во мрак угла святыми своими глазами и говорил бы только: «Святые, святые, таинственные, таинственные дела творились в великом городе Угличе, в одном из трех древнейших русских городов... святые дела творились со святым царевичем Дмитрием!...»

Роман Архипович рассказывал:

— А первый друг Панкрышева — Антон Иванович. Непонятно и горестно за человека... Теперь я расскажу о покушении на убийство и о пожаре, а затем о раскорчевывании мозгов. Революция идет своим чередом. Я прибил к комитету бедноты. Антон ко мне ни ногой, я к нему тоже, — решил, кланяться дураку не буду. И началось с избы, — дом у Антона — пятистенка, четыре комнаты, кухня, полутеплый сортир. Кроме всего прочего и самым первым делом — революция есть народное образование и



коллективный труд, и дело не ждет. У нас артели обговариваются, художественная, строчевая, сапожная, валенщиков, — мы школы делаем. В комитете бедноты говорят, — основных буржуев мы раскулачили, а кое-кто еще остался. Антона поминают, — не дело ребятам в закутках учиться, да и старикам пора ликвидировать необразованность, а денег нету, а матерьялов нету, а ждать некогда, революция в самом разгаре, — и дорожка ведет к антонову дому. Решили поставить вопрос на пленум сельсовета, чтобы всенародно было решено, а пока что молчок, ни мур-мур, — Антон Иванович один сам три, а детишек — по сорок человек в классе. Несправедливости я не чувствовал, потому что сам себя представлял на место Антона, я б не задумывался, отдал бы, ведь жил же я в каморке и имел смысл жизни, а у Антона при маслобойке сторожка из двух комнат с русской печкой. Это значит так, а с другой стороны — прожил ведь я с дураком жизнь рядом, знаю человека. И надоумился я сдуру, — пойду к дураку, последний раз пойду, скажу ему, как другу, — сам отдай, в строю будешь, — все одно, раз решили, значит отберут, охолостят, ославят. — Сейчас хорошо знаю, сделал по нераскорчеванности моих мозгов, а тогда не знал, к тому и клоню рассказ. Не вытерпел, — пошел к Антону. И пошел к вечеру, с задов, незаметно. И было это, надо полагать, не больше пяти минут. Встретил меня Антон Иванович на кухне, никого дома не было, он один. Теперь я знаю, Танька за Маньку, Манька за Ваньку, — были у Антона в комитете бедноты уши, шила в мешке не утаишь, знал он про наше решение. И вижу — не человек передо мною, а волк. И вижу — нет у Антона Ивановича глаз, провалились они, дыроч-

ки вместо глаз. И вижу, в руке у Антона Ивановича топор, и поднимается медленно рука. Я тебе говорил, Сергей Иванович, я пять лет на войне воевал,— как я хряпну Антона Ивановича по морде изо всей силы, он с ног долой, а я повернулся и вышел. Иду и думаю — это чтобы за народную идею топором рубать,— маком эти шутки! — волков я всю жизнь не любил, и на фронте научился, как с топориками обращаться, эти шутки бросьте, Антон Иванович!.. «Что же это получается, думаю, из-за избы, из-за дерева, стекла да железа на друга топор поднимать? и что же это такое, где же справедливость? — я ведь к тебе, радиоту, как к старому другу, а ты сам себя губишь!?» — А потом даже остановился посреди улицы, сам себя по лбу стукнул, надо-быть сам себе вслух сказал: «Ну, а я, я-то? ах, дурак, дурак!.. Я-то что же, провокаторм революции оказываюсь,— ведь если пойти другим кому сказать,— мне не то только скажут, что, мол, так тебе и надо, а ведь я кулацким шпионом оказываюсь, я к кулаку ходил наши революционные карты открывать, я кулацкую руку держу,— тебя, шпиона, мало, что кулак хотел зарубать, тебя еще советская власть наказать должна за измену пролетарскому делу!..» Теперь признаюсь, я даже струсил,— и решил про себя,— молчок, конец, больше ни к Антону, ни в антоновы дела! Точка! Молчу. Теперь знаю, что опять сопортинил по нераскорчеванности мозгов. Никому ничего я не сказал. Когда дом у него отбирали, я в стороне, маслобойку, рысака, я в стороне,— когда при мне говорили о нем, молчал. А иной раз я даже думал и даже ждал,— придет, скажет, переломится, покается, станет на народную сторону, в ноги мне поклонится. Трудно че-

ловеку было,— отобрали дом, отобрали маслобойку, отобрали лошадей,— и он тоже молчал. Ездил куда-то на заработки, приезжал обратно,— молчал... А потом пришла коллективизация сельского хозяйства, и когда она начиналась, Антон Иванович в одну ночь спалил — прежнюю свою пятистенку, маслобойку свою — и спалил заодно мой дом... Это и есть опортюнизм, что я кулака на воле оставил, Сергей Иванович, не об Антоне надо разговаривать,— о живой жизни надо говорить и о труде, о миллионах и миллионах людей, которые до революции в нетях жили, а теперь являются замечательными гражданами и трудовиками!.. я в колхозное дело с головою ушел, я для общества работаю, я гражданин государства. Мои мозги теперь раскорчеваны. И об этом теперь прямой мой рассказ. Я говорил тебе, с декабря месяца по посевную был я по найму через колхоз на рытви Большой Волги — канала, рассказывал я тебе историю с красным знаменем и о заключенной бригаде. Так вот этим ихним бригадиром и оказался мой всежизненный друг Антон Иванович. Он мне всю свою жизнь рассказал, я тебе передам, Сергей Иванович, ты опиши кулака. Сели мы вечерком в тихом месте, на плотине, и проговорили всю ночь. Он мне говорит:

«...в деревне — мрак, вонь, нищета, голод, мы все олифой пропахли, а Москва — что ни дом, заглядение, наряды, пища, роскошь. Я лежу на нарах в мастерской, слушаю про богатство,— чудеса! Я иду к Панкрышеву на квартиру с праздником поздравлять,— пол у него воском натерт, в прихожей фигуры стоят, дочка его за дверями ходит в кисейном платье, как херувим,— сам Егор Парфентьевич выйдет в сером пиджаке и в желтых полсапожках,—

красота!.. И мне от этого никак не весело, останусь один, думаю, завидую: «почему же моя такая разнесчастливая доля, что я хуже других, что ли?» — И дело наше — иконы, знаю — жульничество, народ обманываем, тоже не весело. Я людей боялся, — я от них мало добра видел, — я так понимал, что, если я с дорожки не столкну, меня столкнут. И решил я, — неужели я хуже других?.. — возлелеял я в себе мечту, — буду каждую копейку беречь, буду работать, буду копить, — дом себе построю за забором, собаку у ворот привяжу, цепь на калитку пристегну, от людей спрячусь, буду землю пахать, на маслобойке работать, ни от кого не зависеть. Я ведь почему от иконы хотел уйти? — хотел отстраниться от жульничества! Я все справедливо понимал. Думаю, — обязательно добьюсь своего. Думаю, — каждую копейку считать стану, — не может того быть, чтобы правды на земле не было, — добьюсь правды!.. Наказал я себе урок, — дом поставить, пятистенку, лошадей, коров, овец довести до полной нормы, маслобойку справить, а сверх того скопить тысячу рублей, и тогда — в деревню, жить по совести. Ну, своего труда я не жалел... ну, и хозяйского добра — тоже, — я ведь видел, как хозяин работает, — золотце, там, краска, кипарисовое дерево... Ты думаешь, меня завидки не брали, когда ты с Фимой в театр ходил, а я сидел, на сторону работал потихоньку от хозяина? — или не стыдно мне было, когда ты кликнешь меня, поднесешь мне стаканчик, — а я и богаче тебя, а только и подношу тебе — что спасибочки?.. Это верно, завидовал я тебе, я всем завидовал, но мечта моя и характер брали верх, «я, мол, зато избу новую поставил, богородку купил»... И — как я мечтал! — лягу у себя в мастерской на

нарах, свет пригасят, а я вижу в темноте, наяву, как я дом отстраиваю новый, какие в нем будут рамы,— думаю про рамы, а они наяву передо мною в темном помещении около потолка, как я нетеля в свой ворота ввожу; как нетель упирается у подворотни, дурашка, как я ее глажу за ушами и кусочек сахара ей сую, а губы у ней теплые, мягкие, сырые... как баба моя на крылечке стоит, руки скрестила, груди подперла... эх, что говорить!.. Страшное дело — мечта! — просыпался я до света, жил в общежитии от всех в стороне, кроме хозяина, никуда не ходил. Боялся, если позовут,— потому отвечать надо на угощение. Сажу над иконой, расписываю палаты, а сам думаю: «Сегодня Алексей божий человек, телегу, телегу надо налаживать, навоз, навоз надо возить!»...— сажу сверх времени, а сам думаю: «Время к полночи, не забыла ли Ариша коровку подоить, не заспала ли?»...— и сержусь на нее. На две жизни жил,— и не год, не два, а два десятка лет. Надо сказать верно,— меня уважали, а еще больше того боялись,— Панкрышев меня приказчиком сделал, у нас с ним рука в руку. И в деревне все мне кланялись,— тогда такой строй был... Это все верно, Роман. Девятнадцатого июля девятьсот четырнадцатого года мне осталось копить до полной моей мечты сто восемьдесят три рубля, а скопленные восемьсот двадцать семь рублей я получил из банка в девятнадцатом году — и то обманом — когда я мог купить на них один пуд муки... Эх, и страшная для меня началась жизнь! С фронта в деревню я волком приехал, тайком, дезертиром. Какое рушение происходило, как я понимал,— земля на дыбы становилась. Таких, как ты, больше при царе было, чем таких, как я. Вам все нипочем было, войну — долой,

царя — долой, усадьбы — жги!.. Вы рушили все со зла на империю, я так понимал, и потому, что сами ничего не копили. А писем из деревни нету, что там делается — может, и там рушение, — я записался в эсеры, а потом бросил винтовку, не стерпел от тоски по дому, три дня по ночам кустами с фронта утекал, сел на крышу на теплушку и поехал, на вольном воздухе, с юго-западного фронта через всю Украину. Разное, конечно, было, а что я вижу? — подъезжаем к одной станции, к теплушкам женщины бегут безо всякого страха, — «родимые, говорят, у нас тут сахарный завод мужики делили, на душу пришлось по двадцать четыре пуда, — не надо ли кому сахарку?» — подъезжаем к другой станции, к теплушкам старики и подростки, — «братишки, говорят, тут мы спиртовой завод делили, спирту не требуется?» — на третьем делили мельницу, — на одной станции старичок вышел не старичок, а иконостас, весь малыми в золотых кружочках помещичьими портретиками увешен. На крыше у нас от скуки в три листика австрийские винтовки проигрывали. Я ведь знал, что такое копить, — я и вижу только одно рушение, — сижу на крыше и думаю: «Неужли и меня порушили?» — А тут идет разговор, — на месте обязательно «дезертиров ловят», — «неужли и я в разбойники попал? — Скорей бы домой, думаю, там иконники меня знают, скорей бы объяснить, что я трудовик!» — и на грех ко всему — иконы, — ведь сказать на крыше, что я богомаз, с крыши выкинут, как жандарма какого!.. Всю жизнь уважаемо жил, все ко мне с почтением и страхом, и — на-ко вот, как оборачивается, на крыше жуликом еду. На фронте я не боялся, два Георгия имел, — сижу на крыше, то спрячу Георгиев, то опять нацеплю. И

ничего не понимаю, и спать не могу, душа болит, беспокойство, страх. Слез в Шуе, к Палеху ночью подошел, до темна у Люлеха в кустах прятался. Иду к своей избе — руки потеют, сундучок в руках не держится. Допрежь того, как постучать, дом кругом обошел, беспорядку ждал. Собака залаяла, я голос узнал, я ее еще щенком из Ипатьевского монастыря привез, порода — дог. Услышал лай, — обрадовался. Стучу. Отперла жена. Дезертиров, говорит, не ловят, почитай вся округа в дизиках. Я вздохнул полной грудью. Всю ту ночь не спал. Всю ночь осматривал хозяйство, дом, двор, руками щупал, на крышу лазил, в подвал к картошке спускался троекратно, — с телушками, с овцами, с лошадьми — без малого, что не расцеловался, а обниматься обнимался. Мое! хозяин! — достиг мечты! — никому ничего не обязан и ничего больше не желаю!.. — На рассвете велел баню истопить, а до бани усадьбу три раза обошел кругом и на Палешку, на маслобойку бегал. Выпарился, лег спать. Проснулся ввечеру, Ариша говорит — соседи, родственники приходили здоровкаться, sprыснуть возвращение в целости и невредимости, — а мне видеть никого не хочется, мне бы маслобойку наладить, мне бы лошадь новым скребком — с фронта привез, австрийский — вычистить. Сказал жене: «Раньше завтрашнего вечера никого ко мне не пускай, запри ворота, а к вечеру купи самогону!» — А на другой-то день вечером собрание какое-то было, никто ко мне не пришел, я этому порадовался, — не требовалось мне людей. Через неделю Ариша говорит мне: «Прозвание тебе на селе дали — Бирюк», — и я сам выйду на улицу, поговорю с соседом, чувствую — нету ко мне прежней приветливости и почтения. — «С чего бы?» — думаю и — без

внимания. Пришла весна, я в поле. Иконное дело кончено, все за лошадей хватаются, а у меня — пожалуйста, все приготовлено, работаю и наслаждаюсь, все у меня хорошо, а кругом у иконников голод, недостача, с лошадьми они обращаться не обучены. Я никуда, ко мне никто. Мне чуть-чуть обидно, однако все без внимания... Это верно. А спокойствия нет. Нету спокойствия. Еще собаку завел. С вечера дом обойду, все запоры проверю. Ночью просыпаюсь, иду с топором маслобойку проверить. Просыпаюсь ночью от сердечного укола, вскакиваю, сердце бьется, сам мокрый, страшный, — прислушиваюсь, — тихо. «Что же это, думаю, достиг жизненного счастья и опять страшно, — кого боюсь? — к чему бы?» — Беру топор, иду хозяйство осматривать, а на двор выйти боязно, а еще георгиевский кавалер. Днем иду по слободе, соседи, родственники навстречу, а у меня вроде шапка к голове прилипла и язык лыковый. По ночам думаю: «Панкрышева боялся и ему завидовал, теперь народа и революции боюсь и им завидую, — где же справедливость? — что же это будет? — хозяйство в порядке, все есть, все в исправности, работаю, как хотел, от людей освободился, а покою нет и вроде как первый товарищ топор, — как же это так получается? — почему у меня с народом неполадки? — то почетный человек, а то шапку от головы отодрать трудно, Бирюком прозвали!»... — Часто я тогда поминал тебя, — ветродуй ты, но мозги у тебя попроворней моих были, и ты к людям липнул, — я и думал: «Ээ, где теперь нечистая сила Романа носит, — я бы с ним по сердцам поговорил бы, спросил бы его, как и что, откуда какой ветер дует и что шесет, ты бы шутку мне сказал, мы бы



посмеялись вместе и, глядишь, сообща бы что-нибудь и надумали!»... Прощел так полностью девятнадцатый год, прошло время до октября двадцатого, — революция полыхает, — что Сафонова, — Парилова и того раскулачили, я уж о себе остерегаться начал, — а революции не видать конца-краю... И приехал ты... Очень я тебя ждал, Роман, и радовался тебе. А ты мне: «Карта твоя бита, Антон, зазя лучшую половину жизни прожил, ты маслобойку лучше отдай обществу, и так уж тебя Бирюком прозывают, говорил я тебе об этом еще до революции!» — О почтении ко мне и помина нет. Не то, что у нас разговора не вышло, а стал я лютым врагом твоим не на жизнь, а на смерть. Что я просчитался, я и сам видел, зазя лучшую половину жизни прожил, покоя не приобрел, — и не то, что не приобрел покоя, а с топором стал спать, от жены отмалчиваюсь, ночью, как Каин, в поту вскакиваю, — но ведь маслобойку-то, ведь каждую раму-то в окне, ведь скобу-то на пороге, ведь последние мои портки я нажил своим бережением, — ведь в каждом камушке, в каждой тесинке на маслобойке и бережение мое сокрыто, и совесть, — ты думаешь, не страшно мне было у Панкрышева на носу — на его досках, его краской на сторону писать?.. — ведь я тебя-то, Роман, для поддержки ожидал, для помощи, как брата, может, я твоей защиты искал, — а ты... Несправедливо, разбой! — и разбой этот прикрывает мой извечный друг, то есть ты, Роман, — ведь это все равно, как если ты руку или ногу у меня отрезать собирался, — ведь это есть мой жизненный смысл! — «Был я жуликом?» — сам я себя спрашиваю. — «Нет, свое добро я своей смекалкой нажил — значит, все это мое, значит, ежели отберут, — огра-

бят, значит — грабители! и первый грабитель — ты, Роман!»... — Ночей не спал, работать не мог, есть не мог, позеленел, руки все время в поту. Решил про себя, — «ничего не отдам, через тело мое в мас-лобойку впущу!» — Ясное дело, — я никуда, ко мне никто. Однако — дочка в клуб, дочка — матери, мать — мне, — собираются мой дом отбирать под открытие новой школы, решили в комбёде, а в комбёде между прочим и ты. Нельзя сказать, что я тут пережил, даже, если верно сказать, у меня мозги отшибло, я как чумовой был, я даже не помню, что я думал, что я делал и как время прошло, — только знаю, — больше всех тебя, Роман, ненавижу, — решил, ты всему делу закваска!.. И вдруг вижу в окошко — идешь ты ко мне. Жена была вместе со мною на кухне, дочка в горнице шила. Цикнул я на жену с дочерью — надо-быть, вид у меня был страшный, у жены из рук ухват повалился, и покорились они обе мне беспрекословно, на цыпочках ушли они в дальнюю горницу и замерли бесслышно, хоть и видели и тебя, то, как я топор на лавку положил... Ловкий ты, Роман, оказался... а иначе я убил бы тебя, обязательно убил бы, и до сего часа не могу сказать, раскаиваюсь я или нет... Встал я с полу. Тишина в доме, как в гробу. Сколько времени прошло, не знаю. Только вижу, на пороге, как тени, без единого шороха жена с дочерью, в обнимку, прижались друг к другу, и лица у них белые, как у мертвецов, мертвые лица, без единой кровинки, а глаза, как фонари... Тут мой рассказ, Роман, под горку пойдет — или на гору, как тебе покажется, Роман Архипович. Решил я, — донесешь ты, — стал ждать, как меня придут арестовывать. Раскаяния во мне никакого не было, а был страх, — эх, в погреб,

что ли, спрятаться, или под лавку залезть, мешками прикрыться?! — Насилу удержался, чтобы на самом деле не прятаться. Я себя кругом правым считал, а всех — разбойниками. Ждали две ночи и два дня, жена и дочь со мною дома, вечером огня не зажигали. На третий день ввечеру послал жену к соседям, вроде углей горячих попросить, спичек тогда не было, дескать, сплосшали с огнем, — а дочь погнал в соцкультуру, в клуб, в бывшие сафоновские мастерские. Жена с дочерью вернулись, — ничего не слышать, ты в комитете пропадаешь, налаживаешь революцию со всеми безлошадными, о нас никакого разговора нет. Говорю, раскаяния во мне не было. Прошел страх за убийство, — опять вернулся страх за владения, опять не сплю, обратно в памяти все рамы и переборки перебираю. Дочка сказала, — назначен сход, приедут из уезда, будут решать про нас, — еще больше мучаюсь, у, как мучаюсь!.. — Темное дело — собственность, страшное, я тебе скажу, дело. Собрался сход, я, конечно, на нем не был, дали мне три дня сроку сложиться и выехать на маслобойку. Эти три денечка я рукой не двинул, женщины все укладывали и ворочали. Я лютее волка был, свет и мир людской ненавидел. И яснее ясного мне было, что происходит денной грабеж, и самым большим грабителем я считал тебя, Роман, — ну, что, мол, разжился я от Панкрышева кое-какими золотами, — тебе-то зачем об этом болтать? — тебе-то мешали, что ли, то же делать? — и я думал, ты потому на грабеж не приходишь, что тебе стыдно в глаза мне глядеть. И тоже надо сказать — боялся я на самом деле, как волк, которого живьем изловили, людей боялся, своих собственных соседей и родственников. Где мое почтение, где мое бережение, —

тю-тю!.. Женщины скотину вывели со двора,— сено, овес, муку, сундуки, столы, шкапы свезли,— спросили меня, как с собаками быть? — одну я оставил, а другую велел вести на новое жительство. И пришло время, жена сказала: «Прибегали из совета, велели сказать, через полчаса новые владельцы придут!» — Насилу за... у я оторвал от скамейки. Думаю, сейчас весь мир порушится, а он стоит себе невредимо. Поднялся, глаза в землю, вышел на зады и пошел на новое жительство, как есть волк и еще лютее волка.— «Погоди, Роман!..» — думаю. Пришел. Женщины уж кое-какой порядок навели. Лег я на кровать и — сразу заснул, как убитый. Вот я и говорю, что рассказ мой под горку пошел и темное дело собственность. Проснулся,— светло, мороз на окне играет в солнышке, женщины на кухне возятся, пахнет из печки хлебом. И чувствую в себе — чудное дело — покой!.. — чудно, разве это статочное дело, а — покой! — не сравнить с тем, что было, пока я из дома собирался. Встал, помылся, помог кое в чем женщинам,— покой! — Спать лег спозаранку, ночью ни разу не просыпался и никаких снов не видел. Чувствую этот покой и сам себе удивляюсь. Ненависть осталась, этого не надо забывать,— и месть осталась,— «погоди, Роман, и на нашей улице будет праздник!..» — Понимаю, что идет кругом денной грабеж, называемый борьбою классов. А про жалость надо сказать, до тех пор, пока я не отдал дома, пока я только ждал, как его отберут,— жалость была во сто раз больше, чем как перестал я быть владельцем. Ночью сплю без снов. Хоть бы и другую собаку в старом доме оставить. А кроме этого работы стало меньше, дом меньше — грязи меньше. И совсем уж не так плоха была моя сто-

рожка. многие у нас в деревне, и тебя к примеру взять, хуже жили. А злоба, а ненависть — ух! — ко всему человеческому роду. И особенно ненавидел я эти самые разговоры про классовую борьбу. Через два месяца у меня маслобойку отобрали. Опять неделю мучился, пока собирались отбирать; опять ночами не спал, жена меня за руки держала вместе с дочерью, — собирался маслобойку палить. Отобрали, повесили свой замок, разгородили двор, — опять лег спозаранку, спал до бела дня, и опять проснулся — покой! чудеса!.. А кроме покоя — досуг, дела, почитай, совсем никакого не осталось, — какое там дело — лошадь убраться, за дровишками съездить. Жалости уж нет никакой — пропадай все пропадом к чертовой матери вместе с Россией! — Я так понимал, что со мной вместе весь мир рушится, — думал иной раз: «Не может того быть, станет все попрежнему, тогда и дом, и маслобойку, и лошадь мне с лихвой отдадут, — мы тогда покажем, как грабить!» — я своими руками с тебя, Роман, шкуру содрал бы и плакать не велел бы!.. Ты понимаешь, Роман, если меня охолостили, значит — все позволено, — дай старому вернуться!.. А ежели все на самом деле пропало, то, значит, нету никакого смысла жизни... Почему я сказал, что мой рассказ под горку пойдет? — потому, что самое страшное время было промеж того, как я тебя убивать собирался и как меня из большого моего дома выгнали. Сначала, как я приехал с фронта, я на людей сверху вниз поглядывал, я сам к ним итти не хотел, я хотел один жить, без людей. Охолостили меня. И я уж поклонился бы тому и другому, поговорил бы, спросил, — да вижу, — на меня уж и не глядят, не принимают во мне человека. В то самое время пришел ко мне

Панкрышев с прошлогодними календарями и спрашивает: «Ограбили?» — «Ограбили», — говорю. И получилось так, что Панкрышев один-единственный мне посочувствовал, расспросил все по порядку и сердечно, без придури. Знал я цену этому Панкрышеву, но понимал — у нас с ним одна песня. Он все дурака валял, а со мною говорил, как человек, и доказывал мне, что и на нашей улице будет праздник. Я ему рассказал, как я у него золото подметал. — «Наплевать, говорит, не то пропало и не то вернем, дай срок!» Он один-единственный меня за вора не счел, оценил мои дела. Во мне надежда от его разговоров получалась... Охолостили меня. До революции я газет не читал, разве возьму у соседа, посмотрю происшествия, политика мне была без интересу, а — тут — стал Катюшку в соцкультуру посылать за московскими газетками. Вычитываю газетки до мозолей на глазах. Читаю и злобствую, выискиваю плохие места. Стал страшным политиком. Весна пришла, — выехал в поле, работал до осени. Все село вместе, а я один, молчу, работаю. Мне никак не весело и злобно. Читаю газетки, нет для меня интересней политики, во всем вижу прореху. И злобствую. И жду, как сказал Панкрышев и как сам понимаю, когда нам придется действовать. Читаю газетки, — вся Россия, все равно как наш сельсовет, за одно по газеткам получается. Весь мир против меня стал. Скучно мне. Нету жизненного смысла. Несправедливость. А мужик я здоровый, надел мой обработать, малое мое хозяйство — плевое дело. А кроме того — я ведь в Москве, прежде чем богородку купить, о всех коровьих породах книжечку прочел, про удобрения знаю, про корма. Прожил два года я в деревне, ждал перемены, — дела не делай, от дела не

бегай. Смысла в жизни нет, один против всех,— хочу работать, а к чему? — не знаю. И все ненавижу. Поехал в Москву, искал кое-каких знакомых,— там все то же, что и в Палехе,— скучно и нет смысла. Из Москвы подавался в Крым на малярное дело. Скучно. Вернулся домой на весну. Лето отработал, поехал в Ленинград. Разговариваю про политику на зло. Один раз меня по этому случаю в вагоне гражданин с верхней полки за бороду таскал,— и в вагонах, значит, молчать надо. В Ленинграде — опять скучно, подался на Волховстрой маляром. Каждое лето езжу на родину. Время идет, старею, а перевороту нет. Забытый я человек, вроде волк. И мне уж понятно было,— маслобойка, скотина, дом — на них, правда, я работал, я их потерял,— но потерял еще цель жизни и существования,— у меня смысл жизни раскорчевали. А революция полыхает, конца-краю нет. А газетки я читаю,— капля по капле камень точит. Вот я и рассказал тебе, Роман, как я с горы скатился... Панкрышев все обещал да обещал перемены режиму и вдруг помер, не дождавшись мести,— а умер вонючий, вшивый, грязный. Ко мне пришли, говорят: «Твой дружок скончался, вашему иконописному богу представился, аки Симеон-столпник, иди, хорони друга!»... — Стыд посмотреть на человека. До какого унижения, до какого юродства дошел человек в ненависти на революцию,— что же и мне ему вслед идти? — Не наоборот ли получается,— не то, что вся Россия вместе с Палехом против меня и Панкрышева, а я против всех, против России и против народа, себя поставил? — газетки правильно пишут — для народа, а не для Панкрышева. О тебе, Роман, вспоминал,— выходит, не врагом ты ко мне прихо-

дил, действительно просчитался я молодою жизнью. Выходит, не в вещах вся суть заключалась,— только вот без них мне нету цели жизни. Ну, был я полужуликом, а теперь становлюсь в полной мере заодно с Панкрышевым,— однако старому-то миру я кланялся, Панкрышева дяденькой смолода называл, на праздниках в прихожей у него стопку пил с умильной харей,— почему теперь миру не поклониться, какая тут гордость, панкрышевская, что ли? — Умер Панкрышев.— «Это что же, думаю, Панкрышеву вслед итти приходится?!» — И думаю,— вдруг открывается дверь, иходишь ты, Роман, и я тебе говорю: «Твоя правда выходит, Романушко, ведь не жулик же я на самом деле, ну, согрешил, ну, ошибся,— ну, прости меня, я в ножки поклонюсь, я сознаю свои ошибки... Дом отобрали — пропади он пропадом, из-за барахла до революции горб гнул, а после революции в волчье состояние попал,— будь оно трижды проклято, это барахло! — В моем доме школа,— так разве это неразумное дело, что ли, или обществом, без межей и наделов, по государственному плану, землю пахать, дорогие машины купить,— разве это не резон? — Но почему же в моем доме, на моей земле?» — Так я сам про-себя рассуждал.— Умер Панкрышев,— грязный, вшивый, вонючий,— юрод, а не человек,— а юродом-то совсем не был, хотел революцию переюродствовать, а революция его не послушала. Пришла жена ввечеру, говорит: «У сельсовета объявление повешено, призывают в колхоз!»... И я понял,— конец! — конец навсегда! никогда не вернется наше, не будет у меня на улице масляной, не смогу я содрать с тебя, Роман, шкуру! — кончено! ничего не вернешь! Панкрышевым вонять не намерен! — Я ору жене и даже ве-



село: «Ариша, беги за литрием, селедки приготовь, огурцов достань, которые получше, а я схожу пока к извечному моему дружку Роману Архиповичу, поздравлю его с колхозом, надо sprыснуть колхоз и нашу дружбу... беги за литрием!» — Жена оторопела, не знает, верить своим ушам или нет. Я еще раз крикнул: «Делай, что велят!» — Взял я в сенцах бутылку с керосином, пошел к твоему дому, Роман, шел не крадучись и не прячась, вошел во двор, плеснул в сенцах керосинцу, кинул сенца, поджег и пошел к школе, поджег конюшни и пошел на маслобойку, вылил остатний керосин, поджег и вернулся к жене и выпил весь литрий, как воду, никакого вкуса не чувствовал и никакого опьянения. Сижу, ем закуску, смотрю на зарево, — покой. Пришли арестовывать меня — покой. Мне отвечать больше за Панкрышева и за всю мою жизнь не перед кем и воли своей у меня нет»...

Роман Архипович помолчал, покурил, сказал:

— А я спрашиваю Антона про красное знамя — ну, и как, мол, ты теперь проживаешь? Ты вот па знамя работаешь, — ты что же, в самом деле большевиком стал? — так и прешь со своей бригадой...

«... — Нет, мы не коммунисты, — обернись дело...»

— Ну, и не каешься ты?

«... — Нет»...

— Ну, а обернись дело, — убил бы меня?

«... — Обязательно убил бы! — самый большой у меня праздник был, когда я твой дом палил! — обернись дело, я и с тебя, и с Зубковых, и с Маркичевых, и с Котухина, и с Вицина, и с Колесова — шкуру своими руками сдеру, освежую вас, и плакать не позволю!..»

— Вот я тебе, Сергей Иванович, и рассказал об

окончательном раскорчевании моих мозгов. Класс на класс — все равно, что с глазу на глаз, — никакого опортюнизма, начистоту. И это есть окончательное пролетарское сознание. Об иконках надо окончательно забыть и не поминать!..

Сергей Иванович знал, — он слушал повесть о социалистической революции. Доказательством «от противного» вскрывалась история палехского пролетарского сознания, — такая ж, как законы обратной перспективы палехских миниатюр. Рассказ Романа Архиповича, бывшего богомаза, превращался в повесть никак не только палехских дел и мечтаний — это рассказ созревания классовых и пролетарских инстинктов, доказанных «от противного». Пролетарии выковывали свое сознание задолго еще до Пятого года, — и какие пролетарии — палехские богомазы, колхозник Роман Архипович, милейший человек, в частности!? — Нет, не они делали революцию. Революция сделала их, — и, как должно, поэтому наш суровый, боевой пролетарский век сумел загореться и изумительностью, и сказкой, — на палехском лаке, в частности, — шире Палеха, не только для Палеха. Повесть рассказывала о социалистической реконструкции сознания и повесть рассказывала о том, что иконнику Павлу Павловичу Калашникову — нет места среди иконников Палеха и среди палехских колхозников, бывших иконников. Павлу Павловичу на самом деле надо спрятаться в Углич, как в Китеж.

Дмитрий Николаевич Буторин, фламандец и певец зари туманной юности, собирался писать пушкинского Балду по предложению книгоиздательства «Academia» и ездил в книгоиздательство для переговоров и для подписания договора. Он приехал в

Москву и отправился на Большую Калужскую улицу, угодил в Академию наук СССР, сначала беседовал со швейцаром, сказав ему, что — он, мол, Буторин из Палеха, приехал в связи с Балдой, — затем беседовал с неким делопроизводителем. И отправился на Ленинградское шоссе, угодил в Академию воздухоплавания. Побывал Дмитрий Николаевич также в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. И только на второй день к вечеру, измученный, добрался до книгоиздательства и уже несмело сказал там швейцару: «Я, мол, Буторин, из Палеха, в связи с Балдой». — В книгоиздательстве «Academia» Дмитрия Николаевича очень ждали и встретили высокой честью.

Езживали художники в Москву с женами на свои торжества. Их водили по театрам. Их записывали на звук. Жили они в гостинице «Метрополь». С женами — по дороге с вокзала до гостиницы — художники выдержали целый бой; художники требовали, чтобы жены переоборудовали свои головные уборы, предлагали заехать в шляпный магазин для закупки беретов; жены наотрез отказывались сменить на головах своих извечные свои платки на непотребные беретки. Гостиница «Метрополь» угнетала художников: «Мы не цари, чтобы эдак-то... нам бы дом крестьянина, где внизу трактир, чтобы чайку попить, а здесь и чаю негде, все кофе!» — и согласились на «Метрополь» с условием, что помещены они будут все вместе в одном номере, — «а то в одиночку нам неудобно»... — И больше всего тратили времени художники на ожидание друг друга, ибо они категорически отказывались ходить иначе, как скопом, семеро ждали одного опоздавшего с женой и двига-

лись по московским улицам, держась друг за друга, сразу все товарищество.

Громадный  
                        громадный  
трудный  
                        труднейший  
пройден путь палешанами —  
— и замечательный путь —

*«...Они механически перенесены... из классического русского романа»...*

*«...образ не только весом, перспективен, матерьялен, историчен, он обязательно социален и классов»...*

Роман Архипович рассказывал о своих раздумиях по дороге после топора Антона, он рассказал:

«— ...а потом даже остановился посреди улицы, сам себя по лбу стукнул, надо-быть сам себе вслух сказал: «Ну, а я-то? ах, дурак, дурак!.. я-то, что же, провокатором революции оказываюсь,— ведь если пойти другим кому сказать,— мне не то только скажут, что, мол, так тебе и надо, а ведь я кулацким шпиеном оказываюсь, я к кулаку ходил наши революционные карты открывать, я кулацкую руку держу»...

Арбеков месяца за три до поездки в Палех, еще зимою, но много позже смертного беспокойства, то есть тогда, когда он слышал уже гул миллионов и знал, что он в классе и с классом,— Арбеков написал рассказ о стариках, не похожих на Романа и Антона, выводами своими совпадавший с рассуждениями Романа Архиповича о предательстве, написанный именно для этих выводов.

Рассказ назывался «Заштат» в честь заштатных обстоятельств повествования и заштатного мышления его персонажей. Этот рассказ гласил следующее:

«Российское место оседлости, именно — место оседлости и — российское. При царях Иванах здесь была испольная крепость, при императорах — помещался уезд, перед самым Семнадцатым сданный в заштат. Революция планами своими заштат обошла, советское межевание поместило в городе рик. В начале века у города возникла была некая необыкновенность и погибла с революцией, наладились было в городе покупать дома с садами отставные генералы и помещаться в этих домах на покойную старость. До станции от города — семьдесят один километр. Базар и собор на горе, — собор, впрочем, заключен. Вокруг базара двухэтажные каменные местожительства бывших почетно-потомственных, с каменными воротами и глухими конюшнями, с собачьими будками и с переросшими в одичание садами. На восток, юг, запад и север от базара и от двухэтажных местожительств этой оседлости — одноэтажные деревянные за заборами, сады, колодцы на перекрестках, выгоны, поля, небо.

Рик — в бывшей управе. Общежитие ответственных работников — в бывшей чайной с номерами. На прежнем базарном постоялом дворе в конюшнях и в двухэтажном камне — ветеринарная амбулатория, в верхнем этаже — старший ветеринар Иван Авдеевич Гроза и там же аптека, — младший ветеринар Климов, Николай Сергеевич, — на дворе во флигеле. Через улицу, как раз окна в окна, также на втором этаже жил санитарный врач Лавр Феодосович Невельский, занявший целый этаж, обставленный ге-

неральским красным деревом. Врачей в городе — пять человек, ветеринаров — двое, учителей — человек тридцать. По сельсоветам, естественно, свои медицинские и ветеринарные амбулатории и свои учительские силы.

Ветеринарный врач Гроза и санитарный врач Невельский появились в городе после революции и, встретившись, не подали друг другу руки, не поклонились, не пожелали познакомиться. Тому были причины. Некогда, еще до Пятого года, Гроза и Невельский служили в Калязинском земстве. Ст Пироговских съездов у санитарных советов в земстве осталась традиция, когда новые врачи принимались в земство исключительно по выбору санитарных советов, причем первый год службы они стажировались в качестве временных врачей, дабы среда врачей могла всячески изучить того, кого она принимает в себя. Это не было законом земских уложений, это была традиция, принятая земской практикой. Председателем земской управы и предводителем дворянства в Калязинском земстве оказался князь Федор Расторов, местный феодал и улан ее величества. Князь Расторов воеводствовал по-своему и пригласил двух врачей, помимо санитарного совета и без стажа, на постоянную службу. Врачи из санитарного совета взволновались и собрались у санитарного врача Лавра Феодосовича Невельского, чтобы обсудить, как им реагировать в защиту пироговских правил. Слово держал Лавр Феодосович, блестящий ораторским искусством и цитатами из земских классиков. Демократы предлагали демократические меры. Было решено собраться вновь и на собрание пригласить тех двух врачей, которых нанимал без санитарного совета князь. Было решено

С этими двумя врачами переговорить по-товарищески и убедить их в том, чтоб они сами отказались от предложений князя и подчинились бы традициям. Было решено,— в том случае, если врачи откажутся от товарищеских предложений,— не подавать этим двум врачам руки, бойкотируя их. Члены санитарного совета вновь собрались на квартире Лавра Феодосовича Невельского, и туда приходили два новых врача. Лавр Феодосович Невельский держал блестящую речь, он убеждал молодых не нарушать прекрасных пироговских правил, и он предупреждал, что врачи из санитарного совета будут бороться за традиции путем неподачи руки. Молодые выслушали речь Невельского со вниманием и передали ее князю Расторову. Князь Федор Расторов усмотрел в речах Невельского бунт, экстренно собрал санитарный совет и дал знать врачам, что на этом заседании он представит врачам двух новых коллег и, буде некоторые не подадут им руки, не подавшие руки будут уволены из земства. И врачи — подали руку!.. — кроме двоих, кроме Лавра Феодосовича Невельского и Ивана Авдеевича Грозы. Лавр Феодосович Невельский,— узнав о проектах князя,— за день до санитарного совета подал в отставку, срочно выехал из Калязина, от неподачи руки уклонившись тем самым, и перешел работать в новый уезд. А Гроза Иван Авдеевич, который и не имел особенно прямого отношения к медицинскому санитарному совету, пришел на заседание, и когда князь широким и дружеским жестом представлял новых коллег, Иван Авдеевич спрятал руки за спину, старомодно раскланялся с князем, торжественно сказал: «Извините, князь, но с этими господами знакомым быть я не желаю!» — и был уволен из Калязинского зем-

ства в двадцать четыре часа. Невельский штрейкбрехерствовал хуже, чем те обыватели, которые подали руку. Недели через две тогда Лавр Феодосович Невельский приезжал в Калязин ликвидировать свою квартиру, объехал с полулегальными, прощальными визитами своих коллег, ему сделан был полулегальный прощальный обед, полный полулегальных речей и пророчеств. Но Грозе прощального обеда не устраивалось. Провожали Грозу фельдшер да амбулаторный сторож. Что касается Ивана Авдеевича Грозы, то пять раз переходил он таким образом из уезда в уезд, сотни тысяч верст исколесив российскими проселками по черастелам, по ящурам, по сибирке, сапу и мыту. И уже под занавес империи, в год мировой войны, в зное и отдыхе феодальной реакции, в успех второвского капитализма и фонмекковской индустрии, эти российские проселки завели Ивана Авдеевича Грозу в город Можай. По участкам в Можайском уезде жили ветеринарные врачи, коллеги, реставрируя гоголевский быт. И вскоре после приезда выступил Гроза на санитарном совете с докладом о положении ветеринарного дела в уезде и о мерах развития его. — «Господа члены санитарного совета! — торжественно сказал Гроза. — Практика и опыт всей моей жизни и общественной работы указывают мне, что святым делом мы должны считать общее, общественное дело. Когда мне в общественной моей работе указывают на мои недостатки, я бываю только благодарен, ибо исправлением моих недостатков я улучшаю общественное дело. Поэтому я начну мой доклад с указания недостатков и даже позорных явлений, имеющих в можайской ветеринарии. Например, один из наших участковых ветеринарных врачей, — имени его



я не буду называть, я надеюсь, он сам признается в ошибочности своих поступков,— один из наших врачей выписывает на земские деньги газету «Русское слово», а стоимость газеты проставляет в отчетах, как якобы стоимость бумаги для обертки лекарств, обманывая земство. И этот же врач, равно как и некоторые другие, разъезжает по участкам на вызовы — на племенных земских жеребцах,— разъезжает, ни копейки не тратя, но в разъездных отчетах проставляет за каждую версту двенадцать копеек, якобы он разъезжает на наемных лошадях!»... — Гроза, Иван Авдеевич, сказал длинный доклад. Врачи из санитарного совета, медики и ветеринары, ездили друг к другу в гости, пили друг у друга водку, ухаживали друг у друга за женами и свояченицами,— доклад был встречен гробовым молчанием, принят был «к сведению». А летом Семнадцатого года, при эсэрах, когда эти самые врачи из санитарного совета стремительно заделались комиссарами и эмиссарами временного правительства,— именно за это свое санитарное выступление вылетел Иван Авдеевич Гроза из Можайского земства с треском, как при вулканических извержениях, и осел в заштат, описанный выше, один, старый холостяк, без вещей, старый хрыч. В заштате приемы он начинал в восемь утра, кончал к часу, сам себе готовил обед, сам себе разводил в мензурке пятьдесят грамм ректифицированного спирта, ел, пил, ложился спать до трех, в три ехал по уезду, возвращался к закату, осматривал стационаров, опять разводил пятьдесят грамм, пил их в аптеке без закуски, харкая и крякая, в девять поджаривал яичницу и ложился на диван под одеяло из романовской овчины, в сотый раз перечитывал майнридовские романы, пока не засыпал.

По осеням над заштатом дули ветры и лили дожди. Драная крыша над Грозой гремела преисподней ветров, и в дожди казалось, что по крыше шествует, обутое в ичиги, мамаево полчище, которое и на самом деле бывало здесь в довспольные времена. В такие вечера, когда в заштате ни зги не видно, хорошо зажечь много света, хорошо вытопить дом, никуда не спешить и быть с друзьями. Именно так и было напротив, окна в окна, у Лавра Феодосовича Невельского. Лавр Феодосович Невельский приехал в заштат позднее Ивана Авдеевича Грозы. Расставшись некогда без прощания с Грозой в Калязине, Лавр Феодосович Невельский Семнадцатый год встретил губернским санитарным врачом и от марта до октября, сначала от эн-эсов, а затем от эс-эров, занимался государственным строительством, недели две был, называясь губернским комиссаром, на месте городского головы, затем взял на себя здравоохранение губернии, захирел сейчас же после Октября, дважды был обыскан продармейцами, опозорен сокрытием в подвале двадцати семи пудов крупчатки в восемнадцатом году и перевелся в заштат, ехал со станции в заштат на семи возах хозяйственной утвари. В заштате он приобрел себе лучший генеральский этаж, подкупил генеральского красного дерева. Вместе с ним приехала его жена, неимоверно дородная и величественная женщина в пенсне, по профессии фельдшерица и поистине знаток и начетчик всей мировой классической литературы, цитатами из коей ей говорить было удобнее, чем нецитатными словами. Лавр Феодосович Невельский встретил Ивана Авдеевича Грозу в исполкоме, узнал его, и глаза Лавра Феодосовича были даже

приветливы. Товарищ Трубачев, предрайисполкома, сказал:

— Иван Авдеич,— новый санитар приехал, товарищ Невельский, познакомься!

И Иван Авдеевич Гроза, так же, как некогда перед князем Расторовым, спрятал руки назад, низко и качая головой из стороны в сторону раскланялся с товарищем Трубачевым, торжественно сказал:

— Извини, Павел Егорович, но с этим господином знакомым быть я не желаю!

Товарищ Трубачев смутился. Глаза Невельского стали стальными, очень сощурились. Вообще ж Лавр Феодосович Невельский повадку и внешность имел старо-студенческую, народовольческую, ходил в крылатке и шляпе, носил длинные волосы и, как жена, пенсне на черном шнурочке, был худощав и подвижен.

Товарищ Трубачев наедине сказал Невельскому:

— Ты, товарищ Невельский, на него не серчай... Ветеринар он хороший, а человек чумовой, водку, говорят, пьет в одиночку и ночи напролет читает романы...

Товарищ Трубачев наедине спросил Грозу:

— Ты, товарищ Гроза,— чего ж это ты здорово живешь встаешь на дыбки? — или что знаешь? — ежели знаешь — скажи!

Иван Авдеевич Гроза ответил свирепо:

— Ничего я не знаю! и я не желаю говорить о Невельском!

В вечера, когда по осенним заштатным крышам шли в ичигах орды недельных дождей, у Лавра Феодосовича было очень тепло и светло. К нему и к жене его приходили врачи и педагоги, сидели в кре-

слах и на диванах, говорили, даже спорили иной раз о текущих моментах. Лавр Феодосович выписывал «Красную новь» и «Новый мир», вместе с газетами они лежали на отдельном столике, новинки читались вслух, читала Полина Исидоровна, относившаяся к современным писателям исключительно иронически. По крышам и по улицам проходили полчища ночи. Полина Исидоровна занималась общественностью. Она организовала общество краеведения и краеведческий музей, куда собраны были из генеральской рухляди чучела волка, медведя, лисицы, хорька, ястреба и тетерева, где по воле Полины Исидоровны мальчишечьими руками набраны были яйца галок, воробьев, чижей, синиц, кукушки и где развешаны были Полиною Исидоровной всяческих сортов злаковые снопы. Весною Полина Исидоровна впервые ввела в заштат волейбол, увлекаясь им вместе с педагогами. Полина Исидоровна летом устраивала интеллигентско-коллективные поездки на лодках, пикники, рыбную ловлю и уху на природе. А в заштате, как подобает в природе вещей, весна сменялась летом, лето осенью, и прочее. Лавр Феодосович заседал. Но каждый день к шести он был дома, обедал, и священность вечера и вечернего отдыха он строжайше хранил, по пироговским заветам, нарушая их лишь прогулками затемно, за город, куда-нибудь к оврагу иль к холму летом, иль к разбитой мельнице весною и осенью, где, несмотря на стареющее его состояние, поджидал он ту или иную молодую учительницу и где рассуждал он о вечности, к чему жена его Полина Исидоровна относилась иронически. Лавр Феодосович был популярен в заштате и уважаем. Он читал лекции, он председательствовал. По пироговским традициям, частная практика запре-

щена, да и не это является специальностью санитарных врачей, но Лавр Феодосович считался лучшим в заштате врачом, и, не занимаясь принципиально частной практикой, он принимал участие лишь в консилиумах. Сам о себе Лавр Феодосович рассказывал историю, пронесенную им, как живую современность, от калязинской молодости до заштатной мудрости,— о том, что-де на той неделе он подслушал из окошка разговор прохожих у его подъезда,— один прохожий спрашивает второго: «Здесь, что ли, живет доктор?» — «Здесь». — «И ничего доктор, хороший?» — «Доктор очень хороший, только он специальный доктор — не по живым, а по мертвым. Живых он не лечит!..» — А Гроза жил один, одиноко, злобно, в гости не ходил, и к нему в гости приходил лишь его помощник, молодой ветеринар Климов, Николай Сергеевич,— и то только выпить разведенного спирта. Гроза увеличивал тогда свою порцию от пятидесяти грамм до ста и поджаривал яичницу из восьми яиц. К породе разговорчивых людей Иван Авдеевич Гроза никак не принадлежал. По летам в заштате были очень короткие ночи. На ветеринаров возлагалось страхование крупного и мелкого рогатого и конского стада, по летам Иван Авдеевич Гроза просыпался в половине третьего утра и ехал на страхование — до восьми, до амбулаторного приема,— с громом на рассвете выезжал с бывшего постоянного двора на улицу, верхом на дрожках, в парусиновом пыльнике и в соломенной шляпе, с громадным портфелем, привязанным над торбой, с овсом,— полукровка была отлична, старик был грозен. Летом часто поливали грозы. Что ж касается товарища Трубачева, Павла Егоровича, его товарищи давно работали в крае иль даже в Мо-

скве,— местный уроженец из-под горы, сын рыбака, потомок феодальных мещан и нищих, он учился рыболовным детством и в местном городском училище. Положения 77 года, шестнадцати лет унесен был красноармейской волной на юг, дрался отлично, храбро и преданно, а в двадцать первом, демобилизовавшись, ни учиться не поехал, ни на новые какие-либо места не двинулся, а вернулся в свой заштат, женился на дьяконовой дочке-учительнице, остался жить под горой на огороде, народил детей и был бессменным предом рика, хороший человек, хороший товарищ, который за делами и домом новости узнавал на партсобраниях. Лавр Феодосович Невельский, конечно, приглашал к себе Павла Егоровича и его жену-учительницу. Павел Егорович приходил с женой всего один раз. Полина Исидорова разговорилась о Бокле и о системе воспитания детей доктора Монтессори, процитировала Овидия и Щедрина, сообщила мельком, что урожденная она — Завалишина. Жене Павла Егоровича у Невельских понравилось, а Павел Егорович, отмалчиваясь от жены, на второе приглашение заявил жене строго: «Не пойду, ну их к чорту,— интеллигенты!..— и тебя прошу — не ходи.. тоже, Завалишина — словами завалила! галстуки носят!..» — А Иван Авдеевич Гроза Павла Егоровича Трубачева и не звал ни разу — лишь требовал его дважды к себе на двор, в амбулаторный манеж, чтобы на месте поругаться в честь протекавшей крыши.

И наступил порог первого Великого Пятилетнего Плана. В заштат на автомобиле из края приехала комиссия,— заведующий краевым земельным управлением, краевой статистик-экономист, стенографистка-секретарша. Заведующий краевым земельным

управлением, недавно до того присланный из Москвы в край, чуть-чуть стареющий человек с походкой моряка и бывший моряк, матрос, поместился вместе с шофером в общежитии ответственных работников — в бывшей чайной с номерами Павла Тютютина. Статистик-экономист оказался старым знакомым Лавра Феодосовича Невельского, и он, вместе со стенографисткой-секретаршей, устроился у Невельских. Заседания комиссии и множества подкомиссий происходили в краеведческом музее, где расставлены были звериные чучела и висели гербарии местных растений. В заштате все перетряхивалось, и Лавр Феодосович был всюду. Им извлекались сведения о местных почвах и ставились вопросы о том, нельзя ли здесь построить если не металлургический, то цементный или азотно-калийный завод. Им подсчитывались даже ветры, ибо выдвигался им вопрос об аэро-электрификации. Пересчитывались земли, урочища, погосты, пустоши, осьмаки, клинья, подсчитывались все овраги, ибо настоятельнейше предлагалось включить в пятилетку уничтожение оврагов путем заплочивания их на предмет орошения заштатных почв и создания питьевых водоемов; этот проект, предложенный Лавром Феодосовичем, возник в сознании Полины Исидоровны. И было заседание, посвященное здравоохранению и животноводству заштата. На заседании собрались медики и ветеринары района. Основным докладчиком оказался Лавр Феодосович. Он сделал блестящий ораторским искусством и цифрами доклад, он высказал блестящие мысли по поводу блестящего будущего заштатного здравоохранения. Что касается ветеринарии, он говорил о ящурах, сапе, сибирке, мыте, о бедствиях, приносимых ими, о способах борьбы с этими бед-

ствиями и о способах их изгнания. Цифры и ораторское искусство указывали, что к концу пятилетия не только эпизоотии повального распространения, сап, сибирка, бешенство, ящур, мыт, но даже вагинит и туберкулез — исчезнут в крупном и мелком рогатом и в конском заштатном стаде. Заведующий краевым земельным управлением сидел рядом с Трубачевым, слушал внимательно и чуть-чуть устало. Заговорили записавшиеся в прениях о медицине и ветеринарии и, надо сказать, говорили невразумительно, ибо оппонентов не было, как не было по существу и прений, все соглашались с докладчиком и, восхищаясь его талантами, так строили свои речи о ветеринарии в частности, что на самом деле к концу пятилетки заштатные эпизоотии будут сданы в заштат. Вдоль стен стояли чучела зайцев, лисицы, волка, медведя, по стенам висели кукушки, тетерев, филин. Лавр Феодосович Невельский передал в президиум резолюцию. И тогда затребовал себе слова Иван Авдеевич Гроза. Вид его был свиреп, и был Иван Авдеевич чрезвычайно волосат.

— Господа,— сказал он степенно, смутился, обозлел, поправился,— то есть — товарищи! Я принципиально не желаю говорить о проектах, выдвинутых гражданином Невельским по поводу медицины, но что касается вопросов ветеринарии, то я совсем не понимаю, что тут происходит. Я служу в земстве,— и опять смутился, обозлел еще больше, поправился,— то есть сначала в земстве, а потом при советской власти — двадцать семь лет в общей сложности,— опять смутился и окончательно обозлел.— То есть, товарищи, я хочу говорить совершенно честно. Я не знаю, кого мы собираемся обманывать. Я приведу пример. У Германии соседями являются



Франция, Швейцария, Австрия, самая некультурная их граница с Польшей,— и тем не менее в Германии до сих пор имеется эпизоотия. А у нас по степям рукой подать до Волги, а там Казахстан, Средняя Азия, которые в свою очередь граничат с Монголией, очагом всех эпизоотий. Я и должен сказать совершенно честно, я совершенно убежден, что в пять лет мы от эпизоотий не освободимся, для этого нам понадобится несколько десятилетий.

Слово взял статистик-экономист, приехавший из края вместе с заведующим крайзу. Речь его была вежливейша и академичнейша. Он вежливейше потребовал, чтобы Гроза извинился перед съездом, усматривая в речи Грозы оскорбление съезда, ибо Гроза заподозрил ораторов в нечестности. Затем, сталкиваясь от ветеринарной специфики, вежливейший статистик-экономист уличил Грозу в германофильстве и в недоверии к силам революции, в правом оппортунизме и в желании сорвать пятилетку. Оговорки Грозы «господа» и в «земстве» были возвращены Грозе раскаленным железом вежливости и академичнейшего презрения.

Председатель, большевик и бывший матрос, молвил было в защиту Грозы:

— Однако, товарищ, человек ведь действительно указал на факты о границах и на состояние ветеринарного дела у нас и у немцев. Политическое значение речи разрешите уж мне оценить... Может, пересмотрим резолюцию, предложенную президиумом?

Статистик-экономист вновь взял слово и настаивал на том, чтобы Гроза принес извинение съезду. Взял слово Лавр Феодосович Невельский и заговорил тоном, указывающим, что событий не произошло. Он начал речь свою тем, что резолюция напи-

сана им, и он от нее не отказывается. Он единственный на съезде называл председателя именем-отчеством, и он сказал чуть иронически и очень дружески:

— Уж вы извините нас, Иван Нефедович, хотя мы и заподозрены в нечестности, но давайте на этот раз прислушаемся к большинству и проголосуем.

Тогда вскочил с места Гроза, Иван Авдеевич. Вид его был грозен. Глаза у Грозы были свирепы. Он не просил слова у председателя. Он заорал чрезвычайно несвязно:

— Имею заявить!.. Требую обсуждений!.. Принципиально не желая иметь дело с гражданином Невельским, имею заявить, что, работая, как землец, то есть, как врач, двадцать семь лет, я никогда, ни разу не делал ничего нечестного. То, что я сказал об эпизоотии — правильно, но я принципиально уклоняюсь, ибо тут происходит явное передергивание фактов!.. А поэтому имею заявить, извиняться я ни перед кем не намерен и съезд покидаю.

Гроза громко хлопнул дверью. В музейный зал вселился весь летний зной заштата, и в зное вспыхнувших речей и негодования ожили чучела волка, зайца, лисицы, сороки и даже снопы закачали колосьями. За шумом Невельский, Лавр Феодосович, предложил проголосовать резолюцию и пожал лавры, — было постановлено о ветеринарии в частности, что к концу первой пятилетки исчезнут в заштате эпизоотии, сданные в заштат.

Съезд был заключен товарищеским ужином в доме ответственных работников, в бывшей чайной Тютиня. Среди медиков и ветеринаров оказались песенники, пели «Дубинушку», «Марш Буденного», «Кирпичики» и даже «Гаудеамус». Председатель,

завкрайзу оказался веселым товарищем, простым человеком, он сплясал русскую под аккомпанемент рояля, как плясывал ее некогда на палубе дредноута, причем аккомпанировала Полина Исидоровна, организовавшая бал. Разошлись к рассвету. И на рассвете заведующий краевым земельным управлением, большевик и бывший матрос, много уже ночей не спавший как следует, вышел вместе с Павлом Егоровичем Трубачевым к реке помыться, в тумане лугов, спросил у товарища Трубачева:

— А кто этот твой Гроза? — и добавил, думая вслух: — Чорт их знает, интеллигенты!.. на самом деле, — заштат, степь, — беги по этой степи бешеная собака, на тысячу верст никто не встретит, не говоря уже о чумной мыши или о суслике!.. а с другой стороны — большинство, ведь не дети ж, не в шашки играют, — ведь понимают же, что дело идет о строительстве социализма, что с ними не шутят, — ведь учились не меньше, чем этот старик!.. — как его, — Гроза? — такая фамилия?

— Именно такая фамилия, — ответил Трубачев. — Работник отличный, а человек... Скандальный человек. Прямо незаметно, но надо полагать, что человек чужой, — ведь сбежал же из Московского земства к нам сюда!..

— А Невельский? — спросил крайзу, — очень поспешный, чорт, вроде эсеров!.. Как он у тебя?

— Работает, старается, — ответил Трубачев и начал думать вслух, — чорт их знает, говоришь, — интеллигенты!.. на самом деле, — галстуки на них на всех одинаковые. Говоришь с ним, и не понимает он тебя, и ты его не понимаешь, классового контакта нет никакого и нет общих интересов. Меня с женой Невельский один раз позвал в гости, — так его жена

меня ученостью завалила... Работает, старается. Я думаю,— все-таки большинство право,— ты же правильно говоришь, что не дети, ты ж им прямо сказал, что с ними не шутят, а великое дело делают,— ты ж с того и начал, что хочешь знать их мнение, как специалистов. Я и им повторил, приходится верить... галстуки на них, на чертях, на всех одинаковые!..

— То-то — верить!.. — так же вслух начал думать крайзу.— Я приеду в край. Из края пойдет телеграмма в Москву. Ты понимаешь ведь, в Москве на материалах республик, краев, областей Союза,— ведь в Москве в расчетах Пятилетнего Плана в разделе «животноводство», в главе «ветеринария», в параграфе «борьба с эпизоотиями» напишут и примут в расчет: мероприятиями советской власти и ветеринарии эпизоотии у тебя будут изжиты к началу второй пятилетки!.. Это ведь про тебя напишут. Вещь ясная и короткая, рассуди сам.

— Своих надо,— невесело сказал Трубачев,— своих, партийных... Я этим приказываю, они стараются... и — не могу тебе как следует объяснить — верить им мне никак не желательно. А приходится верить. Я же не доктор!.. А приказ — я могу тебе как следует объяснить — тоже не очень желательно. Интеллигент от приказа на дыбки встанет... приходится верить большинству, а то с одним чумовым Грозой останешься.

Они помылись в реке около старой мельницы, и заведующий краевым земельным управлением, большевик и бывший матрос, сел на китайского своего мерседеса, как прозываются у шоферов вдребезги разбитые автомобили, и поехал в край. Степь легла довспольным простором.

Иван Авдеевич Гроза не был на балу в доме ветеранов. Всю ночь он пролежал с открытыми глазами у себя во втором этаже под овчинным одеялом, слушая ночь. Ни разу он не ходил в аптеку разводить спирт. Руки его лежали неподвижно, как у мертвецов. Глаза его упирались в потолок. Его помощник и единственный его посетитель Николай Сергеевич Климков был на товарищеском ужине и возвращался с бала к себе в ветеринарный флигель на рассвете. Иван Авдеевич поджидал его шаги на улице, он окликнул в окно, сказал: «Зайдите!» — отпер дверь и опять лег на кровать, под овчину, руки вдоль тела, глаза в потолок. Николай Сергеевич вошел в темную комнату, где по углам шарили грязные тени рассвета, где пахло никчемною рухлядью и непроветренной ночью. Николай Сергеевич вошел невесело. Иван Авдеевич протянул Климкову папиросу. Тот взял поспешно, но закурился очень медленно. Гроза молчал. Николай Сергеевич закурил и сказал не сразу:

— И зачем вы только это, Иван Авдеевич...

— Что зачем!? — крикнул Гроза.

— Зачем вы на съезде вообще выступали?.. а, уж если выступали, почему не отстаивали свою позицию, не боролись и ушли со скандалом... уважаемый врач, старый практик и...

Гроза перебил вопросом:

— Какую резолюцию приняли?

— Резолюцию Невельского, почти единогласно.

— Вы голосовали за?

Николай Сергеевич глянул в окошко, очень невесело, затем рассматривал огонек папиросы, — заговорил:

— Вы ведь Невельского давно знаете? — надо бы-

до начинать с этого, надо было разоблачить врага. Раз вы пошли против него, надо было драться всеми способами до конца, а не уходить со скандалом... да и не это главное...

— А что главное? — строго спросил Гроза, сел на постели, крякнул, заворчал: — Невельского я знаю четверть века, принципиально считаю его предателем, не подаю ему руки и разговаривать с ним не желаю, тем паче дискутировать, — но лично я не предатель и не доносчик, и доносить на Невельского я не намерен. — Глаза старика стали печальными. — Вы голосовали за? — но скажите мне сейчас здесь наедине начистоту, — разве я сказал неправду? — разве мы справимся с эпизоотиями в пять лет?!

— Конечно правду!.. если не все, то большинство это понимают...

— Так в чем же дело!? в чем дело! — радостно крикнул Гроза. — Ведь я говорил ради нашего дела! я ветеринарному делу помогал и помогал стране!.. и вы — голосовали!..

Николай Сергеевич оторвал глаза от папиросы и глянул в несчастные и в радостные одновременно глаза старика, — заговорил невесело:

— Иван Авдеевич! не мне учить вас!.. — какое дело? — если бы люди даже сознательно говорили нечестные вещи, — ну, разве можно к ним обращаться за поддержкой в честности? — судите сами, разве можно так говорить, как вы?.. Да и не в этом главное. О Невельском я ничего не хочу говорить, думаю, что соловьем поет и сметаной подмазывает он из подхалимства и от любви играть главную скрипку. А вот о нас, о таких, как я, мне хочется вам сказать... учились мы мало, мы беспартийные.

Как-то хочется верить всеобщему подъему, силам революции,—а, с другой стороны, ведь никто не знает, что будет через пять лет,—быть может, на самом деле пятилетка сделает чудеса,—быть может, нас никого не будет в живых,—кто знает? Вера в успех,—это одно. Малое знание,—это другое. Ну, а вдруг большевики возьмут да и построят вокруг всех наших границ каменные стены, граница будет крепче немецкой, и на самом деле пережгут и перехоронят в цементе всех сапных лошадей,—кто тогда будет прав,—вы или Невельский?.. И еще. Посмотрите на большевиков,—как им хочется, чтобы все хорошо было. Возьмите наш съезд,—о Трубачеве не говорю, он если не прямо, то косвенно приказал,—валяй, ребята! — посмотрите на председателя, отличный человек, матрос, старый большевик,—обратили внимание, как у него рассечено лицо? — он говорил на ужине, полосанул белый казак,—ведь ему хочется, всей его политической и человеческой субстанции хочется, чтобы всем было отлично,—ведь он счастлив, поди считает большим делом и завоеванием наше постановление, что через пять лет у нас не будет эпизоотий,—он жизнь отдал революции,—ну, как против него руку поднять!? — и обидеть не хочется и опять же страшно — власть!.. а власть хочет, чтобы эпизоотии исчезли. Некоторые боятся коммунистов поделом, потому что социально чужды, и правды не говорят и на зло, и со страху,—страх свою роль играет! А есть и такие, которые ничего не понимают кроме того, что власти надо говорить приятное, чтобы не портить отношений и тем спасти шкуру... шкура человеческая — страшная вещь!..

Николай Сергеевич помолчал, он неловко кинул в угол к другим окуркам недокуренную и потухшую папиросу,— опять заговорил невесело и горько:

— Не надо было выступать, Иван Авдеевич!.. Шкура человеческая — страшная вещь!.. Ну, скажите мне,— говорил с вами товарищ Трубачев, Павел Егорович, хоть раз по душам? — а ведь работать хочется не только за шкуру, а и за честь, и за долг!.. Вы ведь тоже с Трубачевым по душе говорить не будете,— и не надо, не надо было выступать!.. Конечно, все выступавшие против вас, да и те, которые вообще выступали за резолюцию, знали по-разному и понемножку, что они лгут и прикрашивают,— а вы это сказали вслух, вы правду сказали. Именно потому мы и стали на сторону Невельского,— это я о себе говорю. Можно даже говорить, что товарищи оклеветывали вас, сделав из вас и оппортуниста, и контрреволюционера, и чуждый элемент,— но в том-то и дело, что если человек сделал гадость другому человеку, один день он будет мучиться, а затем — даже не своим сознанием, а всем своим организмом — будет находить оправдание своей гадости, обязательно его найдет и обязательно обвинит в гадости того самого, кому она была сделана... Не надо было выступать, Иван Авдеевич!.. делу вы не помогли, не отстояли себя, и скажу правду,— если бы вы не окликнули меня в окошко, если бы не дали так по-хорошему папироски,— и я стал бы вашим врагом. Вашим выступлением вы себе только врагов нажили...

— И пожалуйста!! — не прошу, не нуждаюсь! — не заорал, а заревел Иван Авдеевич Гроза, так, что задрезжали стекла в рамах.— Циников и пре-



датель в друзьях не держу! — чести своей никому не продавал! — предателем не был! — не прошу! не прошу-с!!

Через улицу, окно в окно, открылось окошко в квартире Невельского, Николай Сергеевич руки сложил умоляюще, прошипел умоляющим шопотом:

— Иван Авдеевич, — Невельский подслушает, умоляю, потише, умоляю, не надо!.. — я вам, как друг, говорил, по душам, — умоляю, — подслушает!..

Старик лег на постель, прикрылся овчиной, руки положил вдоль овчины, посмотрел в потолок очень внимательно, взгляд стал очень далеким, старик слушал себя, и старик сказал тихо: «...Стар! не понимаю!..»

Николай Сергеевич молвил очень невесело:

— Э-эх, Иван Авдеевич!..

Через улицу, окно в окно, перед рассветом вспыхнул огонь, Лавр Феодосович с Полиной Исидоровной укладывались спать. Совсем на рассвете через улицу, окно в окно, из ветеринарной амбулатории понесся крик Грозы. Оба, и Лавр Феодосович и Полина Исидоровна, поспешно окно распахнули. Крик затих.

— Это совершенный идиот, этот Гроза, фамилия тоже! — сказал Лавр Феодосович.

— И он так и заявил, что не верит в уничтожение эпизоотий и не желает больше разговаривать, и ушел с собрания? — вот идиот! — так и сказал? — в двадцатый раз спросила Полина Исидоровна, добавила совершенно тихо: — Но у тебя, Лавр, нет опасений? — ты не думаешь, что это чересчур и край потребует пересмотра?

Лавр Феодосович сделал страдающее лицо и страдаяще сказал:

— Нет, конечно,— но если бы ты знала, как они мне надоели!

— Кто — Гроза?

— Нет, большевики, конечно,— весь этот сивый бред, все это скудоумие! — если бы ты знала, как все это надоело мне, как меня тошнит от них!.. Что касается Грозы, то завтра я подам протест по профсоюзной линии...

— О да, конечно!..— сказала Полина Исидоровна.

Окончательно в рассвет у дома отработников прохрипел китайский мерседес, и вскоре за ним загремели дрожки Ивана Авдеевича Грозы, выезжавшего на страхование крупного и мелкого рогатого и конского стада. Иван Авдеевич сидел верхом на дрожках, в парусиновом пыльнике и в соломенной шляпе. Сзади него к торбе с овсом привязан был громадный портфель. Полукровка шла весела и нарядна.

На спуске от бывшего собора под гору Ивана Авдеевича повстречал товарищ Трубачев, Трубачев окликнул Ивана Авдеевича:

— Слышь, Иван Авдеевич, чего ты бузу трешь? — ты скажи по сердцам про эти самые эпизоотии, интеллигенты вы, черти, галстуки носите!.. — напутал Невельский — ты скажи по сердцам!..

Гроза ответил очень спокойно:

— Ну, сам посуди, ведь семьдесят процентов наших коров больны вагинитом,— в Голландии, в коровьей стране, и то и вагинит и туберкулез рогатого скота в громадном проценте,— возьми датскую статистику, если не веришь германской...

— Ты подожди наукой сыпать,— ты скажи кратко — останутся или не останутся? — и скажи про

Невельского, — молвил Трубачев. — На, закури, Иван Авдеевич!

— Останутся, — твердо сказал Гроза и твердо добавил: — А о Невельском говорить ниже моего достоинства. До свиданья.

Иван Авдеевич перебрал вожжи.

— Ты постой, погоди. Ты куда едешь-то? — ты, может, что знаешь про Невельского? — ты, что же, ежели утверждаешь, что останутся, ты, может, и помогать будешь, чтобы остались? Почему я тебе верить должен?

— До свиданья, — сказал Гроза, — глупости говоришь. Еду на страховку.

В лугах лежали туманы. Трубачев проводил Грозу туманными глазами под гору. А на горе осталось российское место оседлости, при царях Иванах бывшее впольною крепостью и сданное затем в заштат, базар и заколоченный собор на месте бывшей деревянной крепости. На юг, север, восток и запад — заштатные дома и местности. По осеням в дожди по заштатной этой местности шествовали обутые в ичиги мамаевы кочевья ночи и дождей, над заштатом дули ветры и метели... И, как подобает в природе вещей, весна сменялась летом, лето осенью. Зимой заметали снега. Так шествовали годы. Революция планами своими заштат обходила, советское межевание помещало в городе рик. Снимали в городе в начале пятилетки с церквей колокола, — заштатцы говорили, — ничего не выйдет, народ взбунтуется за колокола, — но колокола сняли и забыли о них. Всколыхнулись деревни вокруг заштата, валом пошли в колхозы, — заштатцы говорили, — ничего не выйдет, — но единоличник исчез, вокруг ложились новые дела. За коллективизацией однажды весь за-

штат не спал ночи, мальчишки висли на заборах, а молодежь уходила навстречу,— встречали тракторы со станции, никогда не виденные здесь. Тракторы въехали в бесколокольный собор, в соборный гараж. Заштатцы шли за тракторами до собора с восхищением, дня три ходили переосматривать их, и в поле ходили смотреть, как они пахут,— а за тракторами от станции до заштата вместо большака легло шоссе, и по шоссе попер автобус. За колхозами в сумятице от тракторов под горой, на месте разбитой мельницы, зарыкала электростанция, и как должное затребовал заштатец в рике к себе по домам провода. Многие заштатцы смылись из заштата по-добру, по-здорову. Многие новые поселились в заштате.

Так прошло четыре года.

В музее краеведения Полина Исидоровна намеревалась встретить порог Второго Пятилетия, был декабрь. Было забыто, но было известно, что эпизотии в заштатных землях есть. Дом Грозы окна в окна стоял против дома Невельского. И совсем под новый год,— в Москве тогда только что отошел процесс промпартии — совсем под новый год,— по новому шоссе пришли в заштат два новеньких автомобиля. Из одного из них вылез,— в овчине, в треухе, в валенках,— бывший матрос, чуть-чуть стареющий, с замерзшим лицом, на котором побелел от мороза шрам, нанесенный некогда саблей. В музее краеведения, перед которым тщательно к празднику были разметены снега, зажгли большое количество электрических ламп,— там заседала комиссия, которая проверяла сделанное в пятилетие. Старый матрос медленно читал пожелтевшие стенографические ли-

сты. Рядом с ним над листами склонился, стоя, товарищ Трубачев.

— Эх, ты,— галстуки!.. не дети же!..

Последним разбудили Ивана Авдеевича Грозу, сказали, чтоб сейчас же собирался в музей краеведения. В музейном зале от лампы под зеленым колпаком навстречу Ивану Авдеевичу пошел матрос, протянул руку, сказал:

— Не узнаешь меня, Иван Авдеевич!? — здоровствуй, как поживаешь? — мы вот тут стенограммы читаем,— это, вот, помнишь, когда мы составляли первый пятилетний план,— ты тогда говорил, что эпизоотии останутся. Они и остались. Что можешь сказать в свое оправдание?

— Здравствуйте. Узнаю. Были и остались, как я и говорил.

— Ты нам посоветуй, что можешь сказать в свое оправдание? Ведь Невельский нам очки втирал,— его ведь арестовать следовало бы...

— Арестовать? — переспросил Гроза и улыбнулся всеми своим волосами.

— Арестовать,— ответил моряк.— Вот именно поэтому, что ты в свое оправдание скажешь? — ведь, если бы ты о Невельском четыре года тому назад рассказал, может, его б тогда арестовали — для пользы дела. Ты как думаешь, к тебе-то за укрывательство негодяев с уважением относятся, ай нет?.. — Товарищ Трубачев ведь по сердцам с тобой говорил!.. тебе верить можно?

— Можно.

— Тогда — зачем негодяев покрываешь?..

В музее было очень тепло и светло. За музеем лежало российское место оседлости, заштат. В до-вспольные времена здесь ходили мамы, была здесь

вспольная крепость. Впрочем, когда снимали колокола с собора, заштатцы говорили, — ничего не выйдет, — но колокола сняли, забыли о них, и собор в просторечии стал называться «тракторным парком».

В рассказе повторялась та ж, примерно, ситуация, что и в рассказе Романа Архиповича: Невельский — Антон, Гроза — Роман. В рассказ были перенесены традиции «классического романа» и «классического мышления», те, когда «можно взять Льва Толстого, «Войну и мир», положить слева от себя». Арбеков взял верную мысль, — мысль о том, что революции лгать и быть нейтральным в революции — нельзя, — но он описал такую революцию, таких большевиков, такую «композицию» (палехское слово!) отношений Невельского с Грозой и с партийцами, которых не было, не могло быть. — Палех и Роман Архипович, реконструкция пролетарского мышления тому свидетели. В революции была вся страна, революцию решал для себя каждый человек заштатов, где

«революция планами своими обходила заштат, — заштатцы говорили»

и ничего не делали, ибо революция проходила мимо них и делала за них — таких заштатов не было, они остались только в литературных приемах, перенесенных на социалистические дни от классиков, то есть они остались в ощущениях и мышлении, не дошедшем еще до социалистического. Роман Архипович побывал бы десять раз и у Невельского, и у Грозы. А Трубачев не просуществовал бы часу ни в партии, ни над Романом, — ни Трубачев, ни зав-

крайзу. Коммунистическая партия не была и не могла быть «сама собою», — она была в стране, она была страной. А для Невельского и для Грозы свидетели — сын Романа Архиповича, дорожный техник, — дети Вакурова, Дыдыкина, Зубкова, второго Зубкова, Чикурина, племянницы Буторина, — инженеры, врачи, агрономы, учителя. Племянницы Буторина не пойдут на свидание с Лавром Феодосовичем. Сын Чикурина — врач — не только на-смех поднимает разговоры об эпизоотиях, но и протолкует просто предварительно их в комсомоле. Статистик из края на проект аэро-электрификации... Дети Чикурина, Дыдыкина, Ватагина, — они сами отлично скажут, что им надо для Палеха. И дорога от станции до «заштата» не может пройти «незамеченной», ибо дорожный техник, сын Романа Архиповича, поднимает весь «заштат» и все окружные деревни во главе с отцом Романом Архиповичем на строительство дороги, на коно-часы. Казалось бы, — что может быть заштатнее заштата богомазства!? — нет, товарищ Трубачев, председатель райсовета, женатый на местной дочери дьякона, боящийся галстука, — нет, он не может существовать в реальности, застрявший в классической «композиции». Партия никак не — «сама по себе»!.. В Палехе, кроме предисполкома Василия Васильевича Зимина, живет секретарь райкома Шестернин, живут комсомольцы, — и живет даже начальник милиции, который однажды (палехским законом «обратной перспективы»!) — однажды. —

В Палехе есть драматический кружок самодеятельности, который ставит пьесы в Доме соцкультуры, — ну, ясно, что — Полина Исидоровна была б «душой» этого кружка, — этот кружок однажды назначил день

спектакля, вывесил рукописные афиши, а потом спектакля не сыграл по недобору актеров — а местный начальник милиции в два часа ночи собрал у себя в отделении всех «артистов», — ну, ясно, в том числе позвал бы и Полину Исидоровну, — собрал со строгим вопросом — почему актеры нарушили пролетарскую дисциплину, крутили вола и надули собравшихся на наслаждение зрителей!? (Полине Исидоровне не перед кем было бы цитировать современную советскую литературу, издеваясь над нею!..)

*То есть Палех и Роман Архипович, уча, доучивая Арбекова, на практике указали, как надо писать, — и они ж оставили в заштате заштатный рассказ Арбекова, неверный рассказ, хоть и написанный по поводу верной мысли о нелицемерии перед революцией, о гибельности «нейтралитета», которого в существе вещей не может быть.*

Сергей Иванович слушал страну, свою родину, родину замечательных дел и событий, родину перестроения истории и человеческого сознания, рождения людей из небытия, рождения из небытия городов, индустрии, искусства. Палехские папье-маше и лак, палехская индустрия, искусство палехской миниатюры, город Палех, — они были построены законами «обратной перспективы» — они доказывали «от противного» величие наших дней, проходили судьбы миллионов, прекрасные карьеры, как карьера Романа, рывшая кроме всего прочего карьеры для новой реки, небывалой реки Волги-Москва-канал, той самой, которая, «окитежит» Углич в Ивановской области вместе с угличанами, авторами писем из-за гроба времен. Сергей Иванович ощущал путь ледокола истории — путь партии российских большевиков — ледокола, разламывающего глетчеры веков. Все это



было чудесно. Разве не чудесно жить — и разве не вдвойне чудесно быть — ну, хотя бы каменщиком, хотя бы карьерщиком эпохи!? Как из тысячи опилок и пыли виденного и слышанного магнит образа отбирает только то, что созвучит сознанию и ощущениям, — так образ эпохи...

Ефим Вихрев, рыцарь и поэт-коммунист, приехав в Палех на организацию палехских юбилейных торжеств, захворал в Палехе смертельной болезнью и похоронен в Палехе около архитектурно-фрескового музея, в том месте, где сейчас проектируется палехский парк, — в том месте, откуда идет новое архитектурное строительство Палеха, то, которое скрестит прошлые века с настоящим и будущим. На могиле Ефима написаны стихи Пушкина:

«В темной могиле почил художников друг и советник...

Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой!..»

Ефим умирал страшною смертью — общим заражением крови. Он хворал в доме Алексея Ивановича Ватагина. Захворав, он сразу заговорил о смерти, сразу *ощутил* смерть. Он быстро покрылся трупными пятнами. И он забредил. В бреду он разговаривал с палешанами. И в бреду он разговаривал с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Он рапортовал вождю о Палехе. Он благодарил за Палех. Он просил вождя защитить Палех, когда он, Ефим, умрет.

Рожь, когда она опылилась, когда оплодотворился хлеб, — пахнет пылью и человеческим телом. Но эти запахи едва уловимы, застланные запахами дня, ветра, солнца, полыни, васильков, колокольчиков, ро-

машки. Сергей Иванович помногу лежал у ржаных межей, на нескошенных травах, перед закатом, после заката, когда особенно сильно пахнули цветы. Он возвращался домой с венками ромашек, васильков, чертополохов, татарника, щавеля. Считается, что эти цветы не имеют запаха,— и это неверно.

По ночам от них исходит тот запах, который надо назвать запахом лета, сладости летней, и горечи, и зноя, и пыли, и отдыха, рассветов и закатов. Сны в запахах этих цветов смешивают явь с действительностью, спутывают десятилетия с тем, чего никогда не было, что было вчера. Во сне — Арбеков и Иван, Петр, Сидор — конечно, все тот же Арбеков,— но во сне иной раз Иван говорит Арбекову истины, которых Арбеков не подозревал, и Сидор чинит хитрости против Арбекова, также Арбековым не подозреваемые,— то есть сознание во сне расщепливается так, как никогда в яви,— как в яви только при болезнях.

А сны...

*«...советская русская литература имеет уже свою историю... когда человек, класс, эпоха приходят на новые места»..*

...На Кавказе, в ущельи Трусо, Арбекова застала гроза. Над горами вверху, в небе горели звезды. Гроза была внизу, гремели громаы и громами кидались под ногами горы, под ногами металась молнии. Над грозой у горных вершин можно было думать о космосе. Лошади шли шагом вниз, к долинам. И в отсветах молний направо и налево, впереди, мимо, снизу вверх к ледникам, к Казбеку пошли

облака. Они шли одиноко и толпами. Они окутывали коней туманами и теплом долины. Их становилось все больше. Они прятали в себя коней и скалы. И вдруг рядом, в десяти шагах, разорвав тучи, так, что лошади прыгнули друг к другу, одновременно взорвались молния и гром. Молния разрежала мрак в ослепительный свет. Гром подхватил свет, содрогнул воздух, ударившись об одну, о другую, о сотую скалу. Хлынул дождь, и сейчас же со скал побежали, помчались ручьи, потоки, водопады. Громы и молнии спешили к Казбеку. Тучи были уже вверху, громы падали сверху. Люди были уже не в космосе, но на земле. Через несколько дней тогда Арбеков просиживал утро за арифметическими расчетами, требующими интегрального исчисления,— вычислял относительность времени,— ту относительность, которая через два года дала ему размышления у ивановского безымянного озера и в первую палехскую соловьино-ландышевую ночь, размышления о гибели «Максима», размышления, направившие мысли Арбекова на Красную Талку... А через несколько дней тогда же на Кавказе, после арифметических интегралов долголетия в удушьи Алазанской долины и ночи, в кромешном мраке, Арбеков слушал странные чавкания и крики, идущие с полей. В полях, на табачных плантациях колхозники-грузины ломали созревшие табачные листья и подбадривали себя ночными криками. Они кричали нечто, похожее на «гхам-гхо! гхам-гхо!»,— и это гхам-гхо, на разные лады, разными тональностями, перекатывалось с плантации на плантацию, ободряя колхозников в коллективном ночном труде. Табачные листья, чтобы табак был хорош, надо рвать в ночи, и надо до рассвета повесить эти листья на сушилках. Табач-

ные листья похожи на ястребиные крылья. Во мраке скрипели арбы. За арбами к сушильным сараям ползли огоньки фонарей, которые называются «летучая мышь». Табак, когда его листья созревают, надо убрать в несколько дней, запрятав работы над табаком в ночную темень. И раз пять за ночь встречался Арбекову бессонный, веселый активнейший человек, — он поощрял, он не соглашался, он брал на буксир, он хвалил, он говорил шопотом и он порлиному, всклекотывал приказом, — он секретарь лагодэхского районного комитета партии большевиков, — он все намеревался видеть своими глазами, он был всюду, он не спал и не дремал, — сейчас он был командиром табачных полей, его армией были колхозники, он был — как на войне, — его врагами были табак, растяпость, время (которое надо было обогнать). В ту ночь в Алазанской долине партия большевиков собирала табак, побеждая его.

...Много севернее Кавказа, на русском северо-западе, на реке Сяси, за Ладожским озером в девятьсот двадцать восьмом году был построен Сясьский бумажный комбинат, давший Леониду Леонову основание написать роман «Соть». Земли новгородских памятей, Обонежская пятина, Ладога, — Таежная область, Озерный край, — Тихвинская система, — Мурманская дорога. История Петра, Санкт-Петербурга, петровские вотчины. Раньше, до всего этого, до человека — силлурийская, кембрийская, девонская эпохи, оставившие здесь свои камни. Студеная река Сясь. Пейзаж понур: дерево, камень, вода, леса, озера, реки, валуны, пороги. Былинная, студеная Ладога, похожая на море. В лесах — карелы, обрусевшие финны, великороссы. Сясь впадает в Ладогу. В Сясь в четырех километрах от Ладоги впа-

дает река Вальгома. В десяти верстах Мурманская дорога. В июне месяце 1925 года здесь, в белые безнебесные озерные ночи были сосны, песок, река, озеро, валуны, тишина, белое небо, понурые песни крестьян из деревни Носки, прозванной при строительстве Дуракиным, крестьян, где женщины косили луга, садили лен и пасли скотину, а мужчины плавали с плотами по Тихвинской, по Мариинской, Озерами, Невою — летами, чтобы зимами и мужчинам и женщинам уходить в леса, на сотни километров от человеческих жилищ, рубить леса, готовить сплавы. Деревня Носки стояла на самом носу, где сливались Сясь и Вальгома. Деревни Носков теперь нет.

В осень 1925 года сюда пришли люди. Люди измерили землю теодолитами, жгли костры и сказали носкинцам, что здесь будут — завод, громадный завод и город. Пришедшие предложили перенести деревню Носки на новое место. Конечно носковцы не соглашались. Конечно люди от завода победили, конечно носковцы решили, что они надули городских: горожане договорились, что деревня будет перенесена, что новые земли выкорчуют горожане, что горожане построят школу носковцам и купят трактор. Горожане предложили носковцам построить европейскую деревню, образцовый поселок, — конечно носковцы не согласились: они потребовали, чтобы деревня была перенесена и поставлена точь-в-точь, как была, — целое лето «мужики» и «бабочки» бегали с новых мест на старые места, отмеривали веревочками, узелком примечая ширину и высоту дверей, окон, пазух, чтобы примеривать узелочками точность размеров и требовать от строителей точности точь-в-точь по узелкам.

Вчера, сегодня, третьего дня, всю зиму двадцать восьмого года в лесах вокруг Ладоги и Онежского озера, на реках, на сплавах работало четыре с половиной тысячи лошадей и шесть тысяч крестьян, примерно таких же, как носковские, — работали для завода, который возник в устье Сяси, по обеим сторонам Вальгомы, около Ладоги, — готовили сырье для завода, чтобы завод начал работать этим летом. Носковцы поумнели за два года строительства: хотя бы потому, что завод выкидывал в эти места ежемесячно полтора-два тысяч рублей жалованьем. Над льдами Сяси склонились колоссальные краны, стальные конструкции, много более высокие, чем местная носковская колокольня, такие, про которые местный батюшка молвил мужикам: «Смотрите, мол, вон какие строят вам, дураки, виселицы, вместо божьих церковочек!» — Эти краны переносят, перекидывают — уже не европейскому, не американскому, но — советскому гиганту десятки миллионов бревен. В лесах, на песке, на валунах Сяси возник завод, похожий на корабль, на грандиозный морской корабль, который пошел в океан лесов и варочный цех которого, одиннадцатипятиэтажное здание, где стоят котлы в добрые двадцать метров вышиною, — центральное здание завода, — варочный цех которого есть спардек судна, а крыша — капитанский мостик, откуда на сотню километров кругом видны леса, леса, Ладога, реки, безлюдье, таежность. Люди работали на заводе день и ночь. Около завода вырос город рабочих, построенный так, как предлагали выстроить деревню носковцам, строгим планом, лицом к солнцу. Там, где раньше рыскали волки и карелы пели понурые песни, гремит железо и гудят гудки. Механики и монтеры от трубочного дыма еще вни-

мательнее прищуривали глаза около машин, которые они заканчивали сборкой. Вдруг нет гвоздей, вдруг не дослан цемент, администрация не сладилась с завкомом: завод, город в лесах, в Обонежской пятине уже приготовил себе сырье.

...Поезд из Ленинграда на север уходит в десять, Мурманской железной дорогой, в Озерный край, в петровские, Петра Первого, вотчины, к Петрозаводску. В ночи отгорел Ижорский завод. В вагоне — тесно; обрусевшие финны, окарелившиеся великороссы, карелы, люди с белыми глазами и с финками на головах, впереди — Ладога, Онежское озеро. За окнами вагона — звезды и щетина лесов. Гудят глубокой полночью. Полустанок Лунгачи, возникший два года тому назад. Рядом Ладога. Ночное удушье вагона сменяется звонким морозом ночи, мраком, снегом. Станция уползла во мрак. Спутники шутят. Их волею возник этот полустанок, но начальник полустанка — враг, не говорит, на сколько опаздывает поезд, он выходит на перрон в подштанниках и кричит пассажирам: «Эй, бездельники, покупайте билеты!» — спутники идут во мрак. Там ждет автодрезина. Автодрезина уходит в лес. Небо, мрак, ели, сосны, снег, первобытность. И через какие-то километры — огни завода, лязг железа, шелест заводской ночи, там, где два года тому назад также была первобытность. Спутники идут по шпалам, мимо темных корпусов, около канав и рвов человеческой воли и новыхстроек. Мост через Вальтому проскрипел морозом, — за мостом поселок, город, построенный строжайшим планом, поэтому не похожий на российские. Улицы горят огнями в этот предрассветный час. Мороз колок, ночной, мартовский. В доме для приезжающих очень тепло, бодр электрический

свет. В нижнем этаже и в соседнем доме — спят немцы, приехавшие собирать машины. Немцами называются — и немцы, и шведы, и бельгийцы.

Ночь. Сон. Утро.

Да, за окнами город, кварталы домов. Да, за окнами Обонежская, новгородцев, пятина, сосны и ели подошли к самым домам, — или улицы уперлись в сосны, — лес, снег, валуны, Озерный край. Да, за окнами завод, возникающий волею социалистов. Два года назад здесь были только — Таежная область, Озерный край, новгородские земли. Спутники идут на стройку завода. Земля взрыта траншеями водопроводных линий. Земля завалена цементными бочками, кирпичом, лесом, бревнами — всем тем, из чего возникли вон те корпуса, построенные кораблем, похожие на громадное судно, где капитанским мостиком — одиннадцать этажей центрального здания. Человеческий труд взял эту землю и эти леса под уздцы. Около моста через Вальгому перекинута конструкция, циклопическая постройка, которая будет выкидывать отработанную воду в Ладогу. Водопроводная станция будет давать заводу воды, завод будет брать воды — больше, чем весь Ленинград. Отработанную воду завод будет выкидывать в Ладогу, чтобы не отравить Сяси, реки немногим менее полноводной, чем Волга у Калинина. День пасмурен. Леса суровы.

Спутники идут к берегам Сяси, туда, где над гранитом берегов склонились краны, те, что будут кидать заводу миллионы бревен. Рабочий-немец, в треухе, в овчинной куртке, в валенках, немец, который собирает краны, приветствует спутников, русских большевиков и инженеров, строящих завод, просьбою дать третью смену рабочих, чтобы он мог к пасхе закон-



чить работы. Краны повисли над Сясью и придавили ее. На конструкциях повисли вагонетки, высоко в воздухе, за тросах, которые кажутся толщиной в палец, но свернутые кольца коего, лежащие около для второй и третьей пары конструкций, указывают, что тросы толщины большей, чем человеческая рука около кисти. Небо серо. Снег синь. Этот пейзаж совершенно не похож на картину Серова, где шагает Петр в Петербурге, но люди, за которыми идут спутники, обдуваемые ветром,—идут петровским шагом. От кранов спутники идут тем путем, коим машины понесут сырье, миллионы бревен, к цехам, к заводу. Спутники приходят в цех, где эти миллионы бревен будут превращаться в древесную труху. Около машин приветствует швед. Спутники идут лестницами, переходами через навороченный камень, под и над лесами, мимо частей несобранных машин, пахнущих маслом и в рогожах. Миллионы бревен, отданные здесь этим машинам, выйдут с завода к железнодорожным шпалам, пройдя десяток цехов волею машин — бумагою, газетными роллами, оберткою, целлюлозою, миллионами пудов фабриката. Новыми траншеями земляных работ, железнодорожных шпал, временных сараев с материалами, кранов и подъемников спутники заходят в цех, где печи из медного колчедана будут делать азотную кислоту и прочие кислоты. Древесная масса, промытая водою в таком количестве, что воды требуется больше, чем всему Ленинграду, отсортированная, смешанная с азотной кислотой, придет в котлы, которые называются варочными. Варочные котлы накрыты одиннадцатипятиэтажным колпаком капитанского мостика. Их шесть, варочных котлов, каждый из них в двадцать метров вышиною, эти куполообразные котлы, сред-

невековые башни, церковные колокольни. Древесная масса, чтобы попасть в эти котлы, забрасывается насосами на крышу их одиннадцатипятиэтажного колпака. Котлы, где каждый котел больше пятикомнатной кооперативной квартиры, сварят дерево, как хозяйка манную кашу. Котлы отдадут древесную кашу огромным бассейнам воды, чтобы вновь вымыть кашу, отмыть азотную кислоту, выщелочить отработанную, ядовитую воду, выкинуть громадными трубами за пять километров от завода, в студеную Ладогу.

Чистую кашу — или пошлют под прессы, где возникает целлюлоза, — или пошлют в машины, где древесная жидкость рекой втечет в машину и вытечет из машины газетными роллами, готовыми в печатный станок. Спутники ходят час, два, три, четыре, переходами, лестницами, лесами, вверх и вниз, из корпуса в корпус. Спутники поднимаются на крышу одиннадцатого этажа. На капитанском мостике завода ветер дует простором. Под спутниками леса и Ладога, Сясь ушла в туманы далее. Может показаться, что спутники пересмотрели все лондонские картинные галереи — так притупился мозг. Ноги и плечи налиты свинцом. Один цех в сознании налезает на другой. Спутников ведут дальше и дальше. В Европе есть только один равновеликий этому заводу — завод Вольгоф в Швеции. Инженеры идут в контору, чтобы покурить и просмотреть планы. Контора не отстроена окончательно, деревянный барак, — это существенно, что сначала строятся машины, затем все, что около машин. Инженеры идут в механический цех, он закончен постройкой, потолки его уже закончены работой. На силовой станции, в турбинной, у сердца завода собраны две турбины на восемь тысяч киловатт, и на три этажа разме-

стился распределительный щит. Голова налита свинцом больше, чем ноги.

Когда спутники идут обратно, у моста через Вальгому, около водонапорной станции их окликает мужичок карельского типа. Он заливчато натягивает вожжи, его бодрая вятка запряжена в кибитку, в сани с крышей.

— Прикажете прокатить!? — кричит он.

Два года тому назад здесь были камни, леса, вода и небо, да носковские, дуракинские тож, крестьяне обрабатывали землю подзольной системой. Носковцы деревню свою перенесли системой веревочных узелков. Шесть тысяч носковцев режут сейчас в тайгах леса, четыре с половиной тысячи лошадей свозят леса — для этого завода.

Мужичок карельского типа, сидя на козлах кибитки, заливчато задрал голову своей финки, гаркнул заливчато:

— Прикажете прокатить!?

Спрос — предложение. Предложение — спрос. Два года тому назад — тайга. Утром, когда спутники шли на завод, они видели против главной конторы, против кооператива и кооперативной столовой, на главной улице — базар. Им объяснили, что сюда перешла ярмарка из Сясьских Рядков. Бородатый полушубок разложил на снегу глиняное свое производство — корчаги, горшки, свистульки в виде петушков, где полагается дуть в петушиные хвосты. Бабочка разложилась ландринами. Тулуп ковырял кнутом в раздумьи снег. Девушка размеров и антуража Бориса Кустодиева смущалась от «тэжэ»-вежливостей паренька в сапогах и в куртке: паренек совал ей конфетину размером в четверть аршина с кистями на обоих концах. Спутники купили себе свистулек.

Вечером, после заседания, где все «увязывалось», как требуется, после ужина в заводской столовой, спутники пошли пройтись по улицам. «Немца» сразу узнаешь по походке и по тому, как он кладет руки в карманы. «Немцы» гуляли по большаку — с русскими барышнями. Барышни были в шляпах. Наши — тоже гуляли с барышнями, со своими — с нашими: у наших были на ногах сапоги, на головах платочки. Мужчина, сопротивляющийся пространствам, уперся любовно в грудь,дохнул бутылкой водки, любовно сказал:

— Выходной, выпили.

Местный работник рассказал смешное, к случаю:

— Сметою, видите ли, кутузки не предусмотрели. Пришлось выйти из сметы. Экономную построили. Плотник хвалился, секретную щель сделал, на случай, если сам угодит, чтобы убежать. Секрет открывает только друзьям.

Клуб, освещенный празднично, через стены в мороз улицы бросал слова радиоговорителя. Местный работник рассказывает о героизме работ зимою, в таежные морозы, когда галки падали с неба от мороза. Завод строился круглые сутки. Спутник осязал свистульку в кармане и думал — о чудесности человеческой жизни, о силе человеческой жизни. Две девушки проходят мимо, прошли, рассмеялись! — жизнь начата! — начата жизнь не узелковых измерений, а вот этих домов рабочих, жилых корпусов, выстроенных линейкой, подчинивших себе Дуракино, перестроенных волей большевиков в два года.

В доме приезжающих спутники внимательно осматривали стены, хотелось найти таракана, — таракана они не нашли. Дуракинцы обернулись к заводу

свистульками. Завод двинулся на носковцев капитанским мостиком варочного цеха. Все ясно без комментариев. Чудесная жизнь!

Очень трудно вставать ночами, когда человек заснул час тому назад. Небо светило ущербной луной, луна цепляла за вершины елей. Во мраке пересвистывались сторожа. Траншеями строек спутники пошли к дрезине. Окликнул милиционер. Жизнь этого дня, вырванная из ночи, начата. Станция Лунгачи, возникшая вместе с заводом, имеет начальника свирепой субстанции, полагающего, что все бездельничают около него. Рассвет идет упорно. Спутники в безделии говорят об Америке, о Соединенных штатах, о том, что тридцать лет тому назад Штаты были экстенсивнейшей сельскохозяйственной страной. Это — продолжение дневного разговора о калькуляции целлюлозы, о том, что завод окупит себя в три года, о том, что капиталы социалистического накопления должны расти геометрической прогрессией и через десять лет этот завод должен иметь пять таких же братьев. Большевики говорят о пафосе творчества. Мозги перепутаны ночью и впечатлениями. Одного из спутников надо назвать — Мартемиан Петрович Шевченко, внук Тараса Шевченко, украинский крестьянин, ныне председатель Ленинградского бумажного треста. Это не случайно для рассвета. Тарас Шевченко был крепостным. Окна станции Лунгачи краснеют рассветом. Мартемиан Шевченко говорит об Америке, где он только что был.

Все, созданное человеческим гением, записано на бумаге, весь человеческий мозг за все тысячелетия человечества всегда проливался на бумагу, все созданное и сделанное человеком, все достойное в чело-

вечестве, его истории и строительстве. Завод предназначен к тому, чтобы делать целлюлозу, то, из чего образуется бумага, и делать бумагу. Этот завод производит пятьдесят тысяч тонн, три миллиона пудов целлюлозы, идущей на бумажные фабрики. Этот завод производит пятьдесят тысяч тонн газетной бумаги, роллы которой расходятся по всему Союзу республик. Этот завод делает миллион триста пятьдесят тысяч пудов древесной массы, той, ради которой в лесных землянках зимою двадцать седьмого-восьмого зимовали шесть тысяч человек и четыре с половиною тысячи лошадей. Из отбросов целлюлозы оберточно-бумажный цех производит двести семьдесят тысяч пудов оберточной бумаги.

Этот завод, этот город возникли в лесах, чтобы делать бумагу, делать величайший двигатель культуры, где записывается человеческая мысль,— этот завод, похожий на громадный океанский корабль, где капитанским мостиком — крыша одиннадцатипятиэтажного варочного цеха. У этого судна, что бы там ни было, путь один — в социализм.

...На северо-восток от Лагодэж, на юго-восток от Сяси, в Азии, в Казахстане строилась Туркестано-Сибирская железная дорога, Турксиб. В тот день, когда из Москвы ушел поезд торжествовать открытие Туркестано-Сибирской железной дороги, около Айна-Булака, то есть около места смычки северного и южного путей Турксиба, сколачивались последние километры северного пути. Правительственный поезд, понесший из Москвы представителей правительства, рабочие делегации, советских журналистов и литераторов, от американских до японских, уходил в степенность ночи степенностью людей, отобранных из тысяч своими именами, положениями и де-

лами. Вагоны поезда, в притушенных сиреневых рожках сна, засыпали отдыхающими людьми. Поезд шел в Азию, в первобытность, в пустыни песков. Это было в ночь с двадцатого на двадцать первое апреля 1930.

Под самым Айна-Булаком, к двадцатым числам апреля южный укладочный городок уперся в скалу, догнав каменоломов, и укладчики, сменив свои костыльные молоты на лопаты, пошли помогать каменоломам, работая круглые сутки. Наступала ночь на двадцать первое. В закат гремел аммонал, разворачивая скалы, вдвигая пути в горы. Днем лил дождь. Закат багровел древностью, в пустыне, в колоссальных тысячах километров отовсюду, где — за зноем и песками — почти не ступала нога человека последние сотни лет, — закат грохотал аммоналом. И вслед аммоналу пошли люди. Ночь наступила черным мраком. И в ночи было небывалое. Меж развороченных аммоналом скал повисли газовые фонари, тепловозы залили ущелье белым светом прожекторов. Сверху лил дождь, огни индустрии резали мрак, оставляя на свету скалы, ущелья, человеческие спины, шпалы, кирки, молоты, ломы, лица, усмешки, бодрость, усталость. Из мрака возникали вагонетки, скрипели, уходили в мрак. Огни меняли свои направления, и видными становились новые ноги, головы, лица казаков и русских, склоненных над кирками и над гранитами. Вагонетки и тепловозы спешили, уходя, приходя, звеня по рельсам, по-свистывая, без сигналов, мешая свои звуки и звуки работы с русско-казацкой дубинушкой:

Ой, раз! — Взяли!  
Ошшо двинем!

Перекликались люди, гремел камень, звенели сигнальные колокола, стрелял пневматический бур. И было понятно в этом смешении камня, машин, людей, света и звуков, что здесь командует и двигает — индустрия. В ста шагах направо, в ста шагах налево — были пустыня, мрак, тысячекилометровые пространства песков и безлюдья. В ста шагах впереди — была скала, гранит, отвес, который надо пробить, чтобы проложить рельсы. По этим рельсам первым пройдет тот поезд, который в этот день вышел из Москвы. 22 апреля, когда литерный московский поезд спал перед Оренбургом, в семь часов утра укладчики вместе с каменоломами убрали из ущелья последние глыбы гранита, а в час дня, когда литерный поезд завтракал, эти укладчики шагали по шпалам с костыльными молотами, чтобы укладывать рельсы. За скалою, рядом, был Айна-Булак. Оставался еще один мост перед самым Айна-Булаком. К южанам навстречу пришли северяне-укладчики, чтобы познакомиться с товарищами, которых они никогда не видали, но навстречу к которым — навстречу друг к другу — шли два года. За эти два года многое было... На Чокпарском перевале, у реки Или укладочную партию заметали метели в морозах пятидесяти градусов. Партия шла поездом теплушек и табором юрт. В морозах и метелях дошли собаки, но работали люди. В этих тысячах километров мороза, снегов и пустыни не всегда вовремя привозились — хлеб, топливо, инструменты. Днями в морозах горного перевала работали над путями, а по ночам тащили вперед обоз поезда и табор жилищ, чтобы оставлять дни для работы. Однажды свалился с рельс, в метели, в ночи, вагон-кузница. Надо было ночью ж поднять вагон, чтобы с утра



работать Был такой буран, когда не видно было собственной протянутой руки. Для подъема вагона надо было подвезти шпалы, чтобы из шпал сделать домкрат. И за шпалами во мрак метели уехал Султан Бастылбаев. Бастылбаев провалился в вой ветра. Бастылбаев пропал в метели. Тогда оставшиеся, раскинувшись цепью, перекликаясь, пошли искать погибавшего. Бастылбаева нашли свалившимся вместе с лошадью под отвес, откуда он не мог выбраться, тонущий в снегу. Через какие-то часы тогда промороженный отряд двинулся вперед на свои рекордные километры, одновременно очень короткие и колоссальные, ибо эти два-три километра метелей суть рекордные, обогнавшие Америку, прокладочные километры. У Балхаша и по всем пространствам этой степе-пустыни кочуют барханы песков, превращая степь в пустыню. Там, где идут пески, там нет воды, там ничего не растет, кроме саксаула, и ничто не живет, кроме ящериц и черепах. И уже не пятидесятиградусные морозы, а семидесятиградусные знои были над балхашскими песками. И бывали ветры. В ветры песок поднимается, как снег, дуют песчаные метели, песок слепит глаза, вместе с дыханием летит в легкие, скрипит на зубах и в пище. Песчаные сугробы идут с места на место, все заметая и путая. В таком песке не пройдет автомобиль и застрянет арба. По этим пескам, по этим зноям, по этим песчаным буранам — шли укладчики, прокладывая рельсы. В этой пустыне не было воды. Воду привозили из-за далеких километров. И воду, в этом отчаянном зное, люди гили по пайку, по литру на человека в сутки. У людей болели глаза, избитые песком. Песок разъедал раны. В песке и безводьи отказывались у грабарей работать лошади.

Люди шли вперед, часы досуга отдавая тому, чтобы убивать тарантулов, фаланг, скорпионов, ядовитых змей. Люди проходили эти пустыни, индустрия, строившая железные пути в пустыне. А веснами, когда бесились реки, гонимые горными потоками, люди работали в солончаках по колено в соленой воде, которая съедала кожу. Нежданные, негаданные воды бросались иной раз на шпалы, размывали насыпи, грозили уничтожить сделанное. Люди боролись с водою, с той самой, которой так не хватало летами, боролись без расписаний часов труда, круглые сутки без сна, оторванные иной раз от других людей. И это было, когда неделями укладочные партии не видели ничего, кроме горизонта и кроме неба, не слышали ничего, кроме песен своих машин, да ветра, да птиц, да писка ящериц.

За Оренбургом для литерного поезда сразу настала пустыня, катастрофически просторная, катастрофически нищая, желтая, беспредельная, в апреле уже выжженная солнцем и знойная, как Сахара. Эта казахская Азия засыпала песками и жгла зноем весь путь до Арыси, до Аулие-Ата, Алма-Ата, Айна-Булак. Днем были зной, и морозы ночью. Пустыни барханов, сметенных так же, как сметаются снега метелями, саксаул, полынь, камень, пески, пески, барханы, саксаул, соленые озерца, где соль лежит на берегах белым снегом. Изредка юрты. Изредка верблюды. Изредка скачущий казах: казахи, завидев поезд, из-за десятков километров мчали ему наперерез, состязая в беге коней и паровоз. Аральское море лужей упиралось в пустыню, море, как пустыня. Пустыня желта, как шерсть верблюда, и пространства обожжены солнцем, как лица монгол. Путь по-  
да обогнал московское время на три часа: на три

часа отстало московское время. За Аральским морем на горизонте возникли снеговые вершины отрогов Тянь-Шаня, за Тянь-Шанем, совсем рядом — Китай. Солнце палило пятьюдесятью градусами. Поезд скрипел шпалами и песком. Поезд шел шпалами Турксиба: скинуть с горизонта эти две змеи, и пейзаж будет таким, каким он был тысячелетия. Всадники-казахи обгоняли, стремились обогнать те два паровоза, которые тащили вагоны литерного поезда.

### Пустыня.

Но вот: с гор идет ручей, этот ручей взят в ватерпасный расчет, каждая капля его воды учтена. Это: ирригация древностей, арычная система, — мюрабы, которые жили у головных арыков, командовали течениями рек. Ныне арыками командуют инженеры, и здесь, около этих арыков, около плоскокрыших домов, выставивших наружу только глухие стены, здесь — субтропическая растительность, цветет урюк, грецкие орехи, миндаль. На полях, вымеренных ватерпасом, хлопок, рис; богары принесут пшеницу. Город Алма-Ата, столица Казахстана, точный перевод с казахского — отец яблок. Ирригации древностей могут перестраиваться и могут строиться новые ирригации. В Среднюю Азию приехали американские инженеры. Инженер Дэвис, который у себя на родине в США был директором правительственного ирригационного департамента, говорил людям литерного поезда, что он в ближайшие пять лет намерен в Средней Азии переоборудовать такое количество водного расхода и оросить такое количество ныне мертвых земель (например, Голодную степь), — такие количества, какие в США он ирригировал в течение двадцати лет. Работы уже ведутся, и эти новые воды изменят пейзаж пустыни. Пу-

стыня, зной! По откосам кое-где растет хандрилла, жирные зеленые лопухи, растение, содержащее в себе каучук. По Балхашу, у Иссык-Куля, по тальвегам Или растет дикий кендырь. На горизонте с востока величествуют горные хребты, минералы, металлы. Катастрофический простор!

В Азию, удостоверить открытие Турксиба, в литерном поезде ехали иностранные корреспонденты. Их телеграммы и радио из Айна-Булака пошли во все концы земного шара. Путешествовали иностранцы подобно бабушкам, везли с собою по свиной ноге, по ящику с вином, по ящику с нарзаном, бидоны консервов, кофейники, чайники, хотя в вагоне-ресторане кормили отлично. Имелись у иностранцев два граммофона с фоксами, коктейлевые справочники, фотографические аппараты, даже киноаппарат. Ели иностранцы за бабушек, пили за дедушек, по американскому чину играли в поккер, отдыхали фоксами и неграми, на станциях стреляли фото и кино в просто верблюдов, в себя с верблюдами, в казахов, в казахские юрты, от фотографического утомления восстанавливаясь коктейлями. По новому мосту через реку Или, по которому поезд проходил впервые (первый поезд впервые по мосту), некоторые иностранцы боялись ехать, как некогда бабушки, и обходили мост пешком.

На горизонте виден одинокий дом у шпал да три-четыре юрты,— это полустанок, разъезд. Дома еще не достроены. Поезд шел к станции, и по пустыне простора к станции мчали джититы, казахи-всадники, их кони стлались по земле в карьере. На станции казахи становились в теоный табун. Лица их были первобытны. В зное казахи были одеты в овчинные халаты, в овчинные штаны (но иные босы, неглижи-

бельно поддерживая стремя одним большим лишь пальцем!). Треухи их шапок были также овчинны. Кони необыкновенно малы и необыкновенно быстры. На седлах казахов лежали одеяла, и седла выкрашены в красную краску. Казахи охотно давали своих коней прокатиться, — москвичи падали с этих бесильных, казалось бы, кляч. В юртах у казахов стоят сундуки, на земле разостланы ковры, посреди юрты — камелек. Казахи, кажется, не знают еще потребности умываться, от них пахнет конским потом и кумысом. Не на одной, а на нескольких станциях казахи спрашивали:

— Ленин едет с вами? Покажите его, — они не знали, что Ленин умер.

Казахи залезали в поезд, щупали, трогали, ухмылялись, — в этот первый поезд, который они видели впервые на своей земле. Два казаха пришли в вагон-ресторан, и — их лица изобразили ужас. Они со страхом глянули друг на друга. Они протянули руки вперед. Они увидели себя в зеркале. Они показывали в зеркале друг на друга. Они корчили страшные рожи. Они хохотали. Они со страхком тыкали пальцами и нагайками в стекло зеркала. Эти два казаха впервые в жизни увидели себя в зеркале, каждый самого себя рассматривал в зеркале впервые, знакомился с собою. Иностранцы стреляли в казахов кино и фото. Казахов можно было угощать папиросами. Они приветливо улыбались. Их можно было попросить спеть. Тогда два казаха садились друг против друга на шпалы, смотрели внимательно в глаза друг друга, сдвигали на затылки свои треухи. И возникали звуки пустыни, длинные, как пески, сухие, как зной. Эти песни были коротки, в одну фразу:

— «Казахи пасли свои стада в степи, но в степь пришла железная телега»,

или:

— «Царь называл казахов собаками, но пришла советская власть, и казахи стали — казахами»,

или:

— «Казах пас свои стада, но прошла железная телега, и казах поступил на строительство рабочим».

Была ночь, когда поезд пришел в Айна-Булак. И в ночи возникли — древность, неповторимое, единственное. Станция Айна-Булак лежит в долине, развернувшей свои склоны на десяти квадратных километрах, проваливаясь в пустыню на западе, упираясь в горы на востоке. Все холмы и все долины светились кострами кочевья. Поезд стоял, остановив свои шумы, и из мрака, с десятка километров, шли звуки орды, ржанье коней, рев верблюдов, гортанные людские крики. Пахло дымом, кизяком, конским пометом. Рассвет открыл становище, которое было таким же, как оно было при Батые, Тимуре, хромце-Тамерлане. Все холмы были усыпаны всадниками. Всадники ехали одиночками, толпами, полчищами, армиями. Столбы пыли, взметаемые конями, уходили в небо. Казахи приехали на торжество из-за пятисот, семисот километров (Казахстан ведь больше Европы!). На конях, кроме мужчин, были и женщины, и дети. Трехлетние детишки сидели в седлах-люльках. Семидесятилетние старухи дремали на кованных серебром седлах. Головы женщин белели белыми чалмами. В долине, где три недели тому назад ничего не было, кроме весенних тюльпанов да полыни, на шпалах стояло несколько составов литературных поездов, привезших людей со всего мира. Поезда стояли паровозами друг к другу, ибо между

ними не были достроены шпалы — всего несколько метров, которые достраивались в день торжества, в день открытия дороги. Казахи приехали торжествовать и видеть невиданное. В тринадцати местах над пустыней холмов дымили фабрики-кухни. Управление Турксиба угощало пирогом всю собравшуюся степь. На этих пирах, под навесами из теса, в пятидесяти градусах жары, в овчинных халатах, казахи ели руками плов и пили нарзан, как водку, сидя на кошмах с подогнутыми под себя ногами, пир Батыя, ловившийся киноаппаратами. В заплывший зной конные казахи с пира поехали за холмы к степи, несколько десятков тысяч конников, ликовать по-своему — праздновать байгу, козлодранье. Там в степи эти тысячи построились каре вокруг кургана. Рыскулов, зампред Совнаркома РСФСР, казах, командовал на коне около кургана. Десяток тысяч коней казахов вокруг кургана стали. В середину, на пустое место к кургану выезжали батыри, единоборцы. Таким образом выбирался совет старшин: два батыря должны были бороться друг с другом, один из них должен был вылететь из седла, — победители составляли совет и получали призы. Противники нападали друг на друга, тащили друг друга из седел, их кони ржали враждебно и кусали друг друга. Затем старшины начали байгу — козлодранье. Бросался живой козел. Каждый имел право схватить этого козла, вскинуть на седло и нести. Победителем был тот, кто привозил этого козла к кургану. Каждый имел право отнять козла. В борьбе одному казаху вывихнули руку, он упал в обмороке, его рука небывало изогнулась. Сейчас же, тут же, казахским способом, этого вывихнутого ввалили на коня, тут же вправили ему кости в суставы, он

очнулся от обморока и — бросился в единоборство. Несравненный, небывалый вой покотился по степи, когда пустили козла. Пыль, более густая, чем лондонские туманы, поднялась над ордами, визг, вой тысячи глоток. Конные орды бросились в одну сторону на десяток километров, свернули вправо, помчали обратно. Тот, кто победит, будет героем на тысячу километров вокруг, — эти тысячи пытавших свое счастье, карьером, вопреки стихиям держась на конях, мчали по степи. Столбами пыли и косами коней в вое орд мчалась тайга. Древность! Куликово поле!.. Так открывалась казахами дорога — не только дорога Казахстана, Сибири, Средней Азии, СССР — но и дорога земного шара. На одной из станций Турксиба в вагон-ресторан литерного поезда вошли четверо: двое рабочих и молодой инженер с женщиной, должно быть, с женой. Был вечер; вошедшие сели в стороне и заказали себе ужин из европейских блюд. Жена инженера раскладывала поданное на тарелки. Мужчины были бодры, здесь в пустыне Чингисхана, гуннов и казахов. Поезд нес в себе быт и обычай не только Москвы, РСФСР, но и Европы, и заокеанских стран. В вагоне — кроме русских, кроме европейцев континента, сидели новосветные американцы и древнесветные японцы. Коридоры поезда пахнули «вирджиния».

Вагон-ресторан блестел крахмалами скатертей, как люди — воротничками. Поезд стоял под знойными песками саксаулов и барханов, — в вагоне-ресторане был ледяной нарзан. Станция, на которой в вагон-ресторан приходили ужинать четверо, была такой, где начальник станции командовал путями, стрелками и телеграфом из временного тесового сарая. Вокруг станции толпилось шесть юрт. Около станции



протекал арык. За арыком, за юртами на юг, запад и север шла пустыня степи,— на востоке леденели вершины Тянь-Шаня, по хребту которого проходит граница Китая. На этой станции литерный поезд был встречен криками «ура», казахи на своих конях подъезжали под самые окна поезда. Сен-Катаяма, член президиума Исполкома Коминтерна, говорил речь на английском языке. Зной спадал в мороз. Заря на западе долго горела и смеркла. Пустыня ушла во мрак, запахло полынью. Люди в поезде отдыхали, утомленные зноем дня и перед днем торжеств Турксиба. Паровоз в темноте медленно набирал воду. Эти четверо сели за крайний столик. Мужчины были одеты по-походному: в высоких сапогах, в гимнастерках. Им было весело. Они шутили между собою и чокались стаканами. Они заказали замысловатые кушакья и не спешили. Вагон-ресторан блистал электричеством. За соседним столиком американцы. Устало пили вино, утверждая англо-саксонскую истину вежливости, когда даже Азия не может менять американского быта. Подошел паровоз, толкнул поездной состав. Официант предупредил, что поезд отправляется.

— Ничего,— сказал инженер,— мы сойдем с поезда на подъеме.

Поезд ушел во мрак. Через полчаса поезд замедлил ход, стал взбираться в горы. Инженер расплатился по счету. Все четверо встали. Американцы увидели, что и на женщине были смазные сапоги. Гости вышли из вагона-ресторана на площадку. Паровоз сипел, трудясь на подъеме.

— Куда это вы собираетесь? — спросил проводник.

— А обратно на станцию,— весело ответил инженер.

Первым соскочил с поезда старший рабочий. За ним спрыгнула женщина. Дракон поезда, сопя паровозами, в тщательно спущенных занавесках, поскрипывая подъемом, прошел мимо оставшихся, завернул на скалу, растворился во мраке,— ушел, унес людей торжествовать открытие Турксиба. Эти же четверо шли холмами, без тропинок, привыкшие к степям и бездорожьям. Они шли, бодрые и веселые. Через час пути далеко внизу во мраке загорелся чуть видный огонек станции. Всю дорогу четверо пели русские песни. Еще через час пути вокруг станции в степи стали видны огни костров: это казахи, приезжавшие встречать поезд, устраивались на ночлег, кипятили каменный свой чай и жарили баранину. А еще через час путники были на станции. С пригорка все сразу они крикнули темноте станции: — Идем! — возвращаемся!

Из землянок, из юрт вышли люди, собрались у костра против одной из юрт.

— Ну-с, сообщайте про ваш выигрыш.

На станции, мимо которой прошел литерный поезд, стояла гидроэлектрическая изыскательная партия, на склонах холмов паслись верблюды, в юртах отдыхали люди, у юрт, задрав вверх дышла, стояли арбы с шурфовальными и буровыми инструментами, с химической лабораторией, с несложным скарбом изыскателей. Эта партия уже два года шла по пустыне, отыскивая и проверяя воду, ее количества, ее месячные расходы, ее горизонты, ее состав,— ту воду, которая дает жизнь Туркестано-Сибирской. В составе партии было человек семьдесят рабочих, инженеры-гидрологи, геологи, межевики, были три женщины-химички. Этот изыскательный табор шел от увала к увалу, от булака к булаку, от реки к реке,

искал воду и на земле и на сотни метров под землей, в памяти у отряда были и нестерпимый зной лета, и снежные метели на перевалах, когда ветер в клочья разметывал юрты и заносил снегами верблюдов. Вся дорога этого табора прошла около кочевых костров ночами, в героическом подвиге дней,— этого табора, который должен был принести Турксибу воду, а вместе с нею — жизнь. Этот отряд еще долго будет идти по пустыне, ползти арбами, на которых свалены аппараты, юрты, скарб, стоять юртами и задранными в небо дышлами, отдыхать кострами, работать зноями. Люди в отряде сжились братьями. Ночи у костров рассказали все о каждом от детства. Те четверо, что были в вагоне-ресторане, были: рабочий-горняк из Баку, землекоп-черниговец, молодой инженер, окончивший два года тому назад Московскую горную академию, молодой коммунист, сын коломенского рабочего, четвертой была его жена, химичка в изыскательной партии, приехавшая на строительство Турксиба из Томска. Так были собраны все остальные работники партии. Мир был отрезан от изыскателей,— лишь радио, которое изыскатели таскали за собою, прикрепляя антенны к юртам, говорило о том, что творилось в мире. В тот день, когда проходил литерный поезд, партия отдыхала. Поезд, который шел из Москвы, ожидали, как радость. Поезд опаздывал. Люди поднимались на холм, чтобы увидеть этот первый поезд, который пройдет по местам, где три месяца назад не было ничего, кроме пустыни. Один из рабочих тогда удивился самому себе:

— А ведь, странное дело,— сказал он удивленно,— в поезде будет вагон-ресторан! Я уже два года не был в ресторане!

Через полчаса тогда партия собралась для лотерей, в шутках, веселии и озорстве. Всем пойти в вагон-ресторан возможности не было. Розыгрышем выбирали четырех счастливцев.

— Ну-с, рассказывайте про ваш выигрыш, — сказал старший инженер.

— Ели! — ответил рабочий из Баку, сдвинув фуражку на затылок, — с салфетками, на скатерти.

— Нарзан пили!

— Подождите. По порядку. Кто докладчик? — сказал старший инженер. — Говорите по порядку. Влезли в вагон. Сели. Заказали. Что заказали?

— Чего у нас нету, все сразу. Я салфетку под бороду засунул, как американец! — сказал землекоп черниговец.

У юрты в котле варилась баранина. Над юртами в небе, в широчайшем просторе степного неба горели соленые звезды. После зноя на пустыню наступал мороз. У костра, стоя на корточках и лежа, изыскатели расспрашивали счастливцев и хохотали после каждого ответа, расспрашивая обо всем до мелочей, начиная от качества салфеток, кончая американскими очками. И только поздно ночью изыскатели разошлись по своим юртам спать. Молодой инженер залез за занавеску на кошму своей юрты, заложил руку за голову. Он вспоминал Москву, студенчество, он думал о том, что завтра произойдет соединение Северного и Южного путей Турксиба, Сибирь соединится с Средней Азией, на открытие соберутся люди, журналисты всего земного шара, приехавшие на открытие Турксиба, пошлют телеграммы и радиограммы, которые в сутки опояшут земной шар. — Он думал о том, что вслед за этим первым правительственным литерным поездом пойдут мно-

гие сотни поездов,— и он совсем не думал о том, что он — в этой безводной пустыне, где вода пред- решает все, что он и его товарищи дали в дороге самое главное, решающее, главное — воду, воду! За эти два года он видел, как у пустыни отнимается пустыня, как в пустыню идут железные рельсы, неся за собою все, что они могут принести. В зной лет были видны на горизонтах миражи несуществу- ющих городов,— и в реальности возникали города. Место, где ныне станция Аягуз, было пустыней, заселенной пятью мазанками и четырьмя юртами. Место, где была пустыня, ныне есть город Аягуз. По август тысяча девятьсот двадцать восьмого года там, на холмах, шумел ветер да текла под обрывом речка Ботань. В сентябре того года там появились колышки изыскателей, не на бумаге был расплани- рован поселок. А в мае двадцать девятого там воз- никал город. Там возникли — и просторный клуб, и светлая столовая, и почилочные мастерские, теле- граф, телефон, больница, кузницы у железнодорож- ного моста.— Починочные мастерские выросли в за- вод. Там строились, достраивались, достроены,— крупнейшие на Турксибе паровозное депо, хлопко- прессовальный завод, мясохладобойня, электро- станция — и город, город домов, палисадников, улиц, скамеечек у домов, вывесок у кооперативных лавок, радио, гуда мотоциклов и автомобилей, где живут люди, работают, отдыхают, рождаются. Непода- леку от Аягуза был старый город военных казарм, построенный при императорах для солдат, которые должны были хранить монархию — в пустыне,— го- род Сергиополь. И город Сергиополь, живые в этом городе ушли на Аягуз. То есть на Турксибе не только рождались города, но и умирали, множество

таких местечек, станций, разъездов, аулов. В начале своего пути партия видела, как по пустыне — из Китая и в Китай, в Монголию, по Казахстану, из Киргизии и в Киргизию, в Узбекистан и из Узбекистана — шли караваны, верблюды. Эти корабли пустыни отмеривали мертвым шагом тысячи километров с товарами пустыни, с хлопком, с рисом, с кожами, с русскими ситцами и мелкими металлическими поделками, с хлебом, с лесом, с шерстью, с пушниной, и это степное сырье и ресефесерские фабрикаты шли тысячи километров от и до Ташкента, Семипалатинска, Алма-Аты. И партия видела, как Ташкент и Семипалатинск идут друг к другу навстречу, чтобы сократить, сдвинуть тысячи километров пустыни, пододвинуть Западный Китай к Айна-Булаку так близко, как не был он никогда за все десятитысячелетия существования этих пустынь. Караваны меняли свои дороги. Партии шли степями казахов. Партии видели юрты казахов, их коней, их стада, колоссальную, ни с чем не сравнимую бедность и леность, созданную бедностью, мир и быт, ограниченный пустыней, юртою, кобыльим молоком, шароварами жены (или нескольких жен), болезнями овец, да ветрами, да морозами, от которых казахи прятались так же, как от зноя — в овчины, никогда не сменяемые. Партии видели первобытность жизни казахов, когда их быт нельзя было назвать даже средневековым. Партии видели сначала, как испуганно смотрели казахи на их колышки и работы. Партии видели, как казахи пошли затем к ним ратать землю, рыть и отвозить ее, чтобы строить ложе путям. И в конце своих работ партии видели, что на многих станциях и полустанциях Турксиба, почти на каждой, стрелочником,

смазчиком, кондуктором, весовщиком, сторожем служат казахи,— а на узловых станциях Турксиба построены школы и курсы для казахов, где казахов учат быть машинистами, слесарями, начальниками станций, телеграфистами, конторщиками, бухгалтерами!.. Железные пути перестраивают пространства. Пути перестраивают человека. Пути перестраивают хлеб и право на хлеб. Вдоль путей пошли ирригации, которые зальют десятки миллионов га под рис, хлопок, кенаф, кендырь, рами. Сколько песен было пропето о великом пути — ночами у степных костров из кизяка — и партиями, и казахами!..

Двадцатого из Москвы вышел правительственный литерный поезд праздновать открытие Турксиба. Сизым блеском вагонов Пульмана поезд прошел по шпалам Турксиба к Айна-Булаку. Поезд к Айна-Булаку пришел в ночь и стал на главном пути. Горы вокруг Айна-Булака горели огнями древнего становища, ибо праздновать открытие Турксиба собрались казахи из-за сотен километров вокруг. Горы Айна-Булака и казахи на холмах около костров имели вид такой же, как при Батые.

И Сясь, и Турксиб — в обиходе, в жизни, в порядке вещей, — в истории, родящей новые пространства, и новое время, и новых людей.

...В избе у Арбекова увяли и вянули снопы и венки васильков, ромашки, мяты, щавеля, полыни.

Растет по болотам под Палехом страшная трава багун. Охотники боятся этой травы. Запах багуна почти незаметен,— но, если пробить в местах, где растет багун, не больше даже получаса,— человек

падает в обморок, у него заходится сердце, у него звенит в ушах, его тошнит. Если друзья не унесут отравленного багуном, если не уползет человек, если он одинок, человеку смерть от багуна. Ни зверь, ни человек не живут около багуна. Но багун исчезает вместе с болотами. Болота же уничтожает человек.







## ГЛАВА ПЯТАЯ

Рожь, когда она опылилась, когда оплодотворился хлеб, она пахнет пылью и человеческим телом. Но эти запахи едва уловимы, застланные запахами дня, солнца, полыни, васильков, колокольчиков, ромашки.

Если лежать во ржи и смотреть сквозь ржаные стрелки в небо — день должен быть обязательно солнечен и синь, должен быть бездонен небесный простор... А вечером сквозь высокие стрелки ржи должна пробираться луна, и тогда кажется, что месяц в небе — хрустальный — звенит... Рожь — хлеб, — какая громадная человеческая культура! — громадная, — от тех времен, когда человек по колосьям отбирал рожь среди сорняков и посеял ее, от сорняков охранив!.. И рядом с рожью — изумрудные коробочки льна, только-только отцветшие голубыми своими колокольчиками, — не менее громадная человеческая культура ткани, одежды, украшения, платья.

Уже цвела липа, отходили первые ягоды земляники и гонобобеля. Созревала в лесах малина. Че-

тырнадцатого июля, в день взятия Бастилии французским революционным народом, художники ушли в отпуск, на сенокос. От каждого двора в Палехе понеслись кузнечные шумы, — художники отбивали косы.

Собирались к художникам приехать дорогие гости — Сергей Петрович Аггеев, Яков Станиславович Ганецкий, Михаил Осипович Лифшиц. Заслуженные присмотрели на базаре «на ногах» барана, сложились деньгами, купили его, пустили до времени в свое стадо. На базаре продавались громадным изобилием ягоды, яйца, молоко и масло. Продавались бараны, телята и свиньи. Продавались куры. Заслуженнейший и мудрец Иван Михайлович Баканов всегда все на базаре покупал самолично и был на базаре все базарные часы, степенный, медленный, внимательный.

На базаре были куплены две курицы. Связанными их понесли домой, несла Александра Михайловна, рядом с ней шел Сергей Иванович, и Сергей Иванович впервые в жизни видел зрелище, которому никак не удивлялась Александра Михайловна. Все петухи от базара до дома Александры Михайловны, мирно покоившиеся со своими курами в придорожной пыли в бурьянах, видя на руках Александры Михайловны связанных кур, становились свирепыми и бросались на Александру Михайловну, свирепые, страшные, клевали, царапали когтями, били крыльями, грозно кричали, призывая петушиных товарищей на помощь. Александра Михайловна прятала связанных кур под фартук и отбивалась от петухов. Совершенно естественно, петухи не умели взять в свои когти дубину (ту самую, с которой началась человеческая цивилизация, отличившая человека от

зверя),— иначе б они били Александру Михайловну дубинами. Перед казнью к обеду куры были положены в садике на скамейку. В садике на ковре сидел восьмимесячный сын Сергея Ивановича, который уже стоял однажды самостоятельно, который сделал еще одно замечательное дело, а именно, никем не поддерживаемый, по своей инициативе, вполз с земли на крылечко дома Александры Михайловны, прополз целых пять ступенек! — сын сидел на ковре; в руках у него был стебелек василька с тремя цветками; около сына лежали игрушки; он благодушествовал и занимался еще одним новым своим делом, так же только что открытым, а именно: орал во всю свою восьмимесячную глотку, — что — совершенно точно — считалось у него пением, — совершенно точно, — так как стоило сказать: «Ну, Воробушек, — спой», как он начинал это свое оранье; куры лежали на скамейке покойно; здруг на заборе появился петух, он прокукурековал и заклекотал повелителем; одна из куриц откликнулась ему, она затрепыхала связанными крыльями, она истерически закудахтала, она упала со скамейки в сторону ковра; сын на ковре прекратил свое пение, он затих и затаился, как жучок; курица кудахтала, она еще раз трепыхнула связанными крыльями, она стала еще ближе к коврику, сын окончательно затаился, неподвижный и сжавшийся в комочек, — Сергей Иванович впервые видел в глазенках у сына страх, — сын смотрел на курицу затаенными глазами; курица опять трепыхнулась и еще приблизилась к коврику; затаившийся сын бесслышно переменил позу, он стал на колени; он готовился к обороне; отец крикнул сыну:

— Воробушек! — ты это что же, брат, трусишь?!

Сын на момент глянул в сторону отца, он не ви-

дел отца до этого; и этого момента было достаточно, чтобы все переменялось; лицо сына изобразило угрозу, он грозно крикнул: «Ких! ких!», и он со скоростью четвероногого жука ползком и грозно бросился на противника, навстречу врагу; он напал на врага; в руках его был васильковый стебелек; совершенно по-боевому он замахнулся васильком на курицу; он был грозен, уверенный в победе и в том, что его защитит отец; он делал грозный вид, чтобы запугать врага; в руках у него была дубина (та самая, с которой началась человеческая цивилизация, отличившая человека от зверя), дубиной служил стебелек василька; дубина была взята сознательно. В саду над сыном и над курицей цвели липы и цвело солнце. Сын, кусочек человеческого мяса, созрел в человека. Отцу и эпохе надо было позаботиться, чтобы человек вырос в гражданина бесклассового общества, для того, чтобы социализмом вытравить тот древний — и страшный инстинкт, который прошел через все века человечества до социализма, — инстинкт дубины.

Восемнадцатого июля к художникам прибыли дорогие гости — на автомобиле с женою приехал из Иванова Сергей Петрович Аггеев, на аэроплане из Москвы прилетел с женою и дочерью заместитель всесоюзного автодорожного мастера Цудортранса (того самого, которого часто поминал Яков Андреевич Синицын), прилетел Михаил Осипович Лифшиц. Их ждали, и все же они приехали неожиданно, — во всяком случае баран «на ногах», которого должны были художники на берегу Люлеха за рыбной ловлей превратить в шашлык по рецептам, вывезенным с Кавказа Котухиным и Маркичевым, — баран оказался в стаде, а стада на полдни не приго-

няли, а стада в лесу не нашли,— и дорогие гости были встречены не шашлыком, но традиционным холодцом, капустой, солеными огурцами, яичницей с зеленым луком и, конечно, чарою серебряной, на золотом блюде поставленной. Дорогие гости ходили из дома в дом знатнейших художников, чтобы никого не обидеть, ходили, окруженные художниками и песнями, смотрели работы художников, выслушивали легенды и истины об охоте и о сенокосе, и все это было точь-в-точь, как на миниатюрах гулянок и демонстраций. Гости уехали ввечеру. Художники были возбуждены. В возбуждении изумленный народ пел чарочку серебряную, на золотом блюде поставленную — «всем, всем, всем!..»

Ввечеру пригнали стадо, вместе со стадом пришел баран, купленный «на ногах»,— и художники, пусть без гостей — («уж как жаль, что вот так-то получилось, без дорогих гостей приходится, конечно, да... да, это уж да!»),— художники отправились на Люлек жарить барана, слушать берендеев лес и есть кавказское кушанье — шашлык. Когда стемнел лес и пошли туманы полночи, когда прогорел маркичевский костер, Дмитрий Николаевич Буторин пел свою биографию:

На заре туманной юности  
Всей душой любил я девицу.  
...С ней зима—весна, ночь—ясный день...  
Не забыть мне, как последний раз  
Я сказал ей,— прости, милая!..

А совсем уже за полночь, когда были только дыдыкинские звезды во мраке, когда деревья пододвинулись к кострищу, подернувшись пеплом, художники, поговорив о сенокосе, который начинал-

ся с понедельника, заговорили — о кладе от Пятого года. Он был зарыт под окнами, под третьим окном со двора около маркичевской избы. И художники решили наутро же откапывать клад.

Это было воскресенье. В три часа дня художники пришли с лопатами к дому Ивана Васильевича Маркичева. Была вырыта яма аршина в три глубиной против третьего окна. Рыли под вторым окном. Рыли ближе к первому. Перекопали весь двор Ивана Васильевича Маркичева, Ивана Забелого, заслуженного деятеля искусств.

*И клада не нашли, не выкопали.*

— Да... конечно, это уж да...

— Пистон, как же ты не помнишь, где ж ты его закапывал?

— Да, ишь, тридцать лет прошло... Я его ночью копал, действительно, вот на этом месте и не так глубоко... А копать — копал — на этом самом месте!

*Клада не нашли, не отнесли его в музей, как собирались.* Решили клад искать заново. Клад остался в жизни, бывший, как Красная Талка, от которой также ничего не осталось на ее месте; в начале революции, в годы восемнадцатый-девятнадцатый, когда ивановцы трудно голодали и мерзнули, лес на Красной Талке был сведен ивановскими рабочими на дрова; поле около Талки, где собирались рабочие, за тридцать лет застроено рабочими поселками; около моста, который сейчас проведен через Талку, как раз на той излучине, где была лесная сторожка, стоит цементный памятник — на том месте, где в Пятом году был убит, растоптан сапогами черносотенной сволочи Федор Афанасьевич Афанасьев, по кличке Отец, один из руководителей большевистской рабочей ивановской организации

Пятого года; на горе за памятником, где тридцать лет тому назад рос дремучий лес, сейчас разместились огороды. Талка навсегда останется заповедником революционных памятней, пусть от нее ничего не осталось. Какая жизнь, какая жизнь начиналась на этих берегах дремучей лесной реки!.. — пусть нет уже этого леса, пусть туда наступил город — все же Талка — заповедник!..

А в понедельник, в три часа утра, художники пошли на сенокос. Травы уже созрели. Впереди шли мужчины с косами на плечах, рядами, — женщины за ними ворошили травы. Под косами падали на землю созревшие пыреи, ромашки, кашки, щавели, иваны-да-марьи. Художники заботливо обходили косами осоку, мордву, чертополох, полынку. Под косами падали благородные травы. На полях происходили события, сошедшие с лаков Баканова, Ватагина, Зубкова. Траву косили художники и колхозники вместе, те и другие — артельщики.

А двадцать первого июля, часов в двенадцать ночи, когда свет был уже погашен и из-за открытого окна тянуло запахом свежего сена, запахом, которым пропахнул весь Палех, — у избы Арбекова рывкнул автомобиль. — Постучали. Арбеков спросил:

— Кто там?

— А это я приехал за вами, — Сергей Иванович услышал голос Якова Андреевича. — У меня вчера отпуск начался, и сегодня утром я выехал из Москвы. Я за вами заехал, Сергей Иванович. Чего вам тут второй месяц с богомазами сидеть, небось замучились, как с тем монахом, который с нами из Москвы до Суздали ехал!.. Я составил маршрут, — осмотрим Ярославский автозавод, на Горьковский заедем. Можно Ивановский текстиль обследовать.

Ознакомимся с нашей соцпромышленностью. На Балахне побываем. Я в автомобиле усовершенствование сделал,—пристроил к потолку походную люльку, как у американцев, на пружинах. Воробушек будет в ней спать, как дома, ни на одном ухабе не тряхнет. Также сделал походную керосинку. Заехал за всем вашим семейством. Имеется палатка. Ознакомимся с промышленностью. У меня отпуск со вчерашнего дня. Заедем в Углич, обследуем, как его там затапливают.

— Вы чего же телеграммы не прислали? — спросил Сергей Иванович.

Яков Андреевич ответил:

— Н-ну, телеграммы... это к чему ж, бумагу марасть? — мне заехать удобней. У меня все предусмотрено, ночлег, питание. Спать будем в лесу, умываться по рекам,—ознакомимся с социалистической промышленностью. А телеграмма — зря деньги тратить!







## ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Палех — Иваново — Ярославль — Иваново — Горький — Суздаль — Владимир — Балахна.

Лагодехская заготовка табака — Сясь — Турксиб — Палех — Иваново — «№ 504 Iswestia Ziks Jemep Sanaa Аравия».— «Урумчи. Западн. Китай» — «Sydney MSW. Австралия» — «Pretoria. Южн. Америка» — СССР — СССР — СССР —

За окнами на тесном дворе зисы грузились газетными тюками. Свежая бумага привозилась с вокзалов, с Сяси и из Балахны. Газетные тюки шли на вокзалы — семь вагонов бумаги и полторы тысячи килограмм типографской краски в каждом ежедневном выпуске газеты. На парадном «Известий» работал лифт, как термометр, поднимаясь от нуля первого до температуры шестого этажа, до редакционных кабинетов, до мозга газеты. Лифт ходил по этажам температур страны. В одном из номеров «Известий», — то есть на семи вагонах бумаги и полтора тысячами килограмм типографской краски, — был напечатан небольшой подвал Арбекова о Па-

лехе. Это было осенью. Роман Архипович работал в лесу, промерз и затемно возвращался домой. На колхозной конюшне он распрягал голиковского коня. На пороге дома он соскреб грязь с сапог, вошел в избу, промокший и усталый. Подросток-сын, ученик живописного техникума, протянул газету, сказал весело:

— О нас! — о нас написано!..

Глаза Романа Архиповича сделались веселыми и испуганными одновременно, никак не усталыми.

*Палех 11 июня—28 июля 1935 г.*



## ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ . . . . .	5
ГЛАВА ВТОРАЯ . . . . .	13
ГЛАВА ТРЕТЬЯ . . . . .	107
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ . . . . .	172
ГЛАВА ПЯТАЯ . . . . .	283
ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ . . . . .	291





### ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ:

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
7	6 сн.	зму	зиму
7	2 сн.	псоле	после
16	18 сн.	Дидилове	Дедилове
21	9 св.	станвал	стаивал
54	17 св.	немецком	венецком
55	13 сн.	наче	иначе
125	16 св.	Катухин	Котухин
265	7 сн.	казаков	казахов
265	3 сн.	казацкой	казахской
269	13-14 св.	мюрабы	мирабы

Бор. Пильняк—, „Созревание плодов“.



*Редактор Н. Белкина  
Технический редактор Б. Новиков  
Корректор Н. Десятков*

*Переплет, форзац, фронтиспис и титул  
работы художника-палешанина  
Ф. Л. КАУРЦЕВА*

Зак. изд. 1042. Инд. X-11. П. 32. Т. 10006  
Уполномоченный Главлита № Б-15473  
Отпечатано на бумаге Окуловского  
бумкомбината

Формат бумаги 72×110 в  $\frac{1}{32}$  долю  
 $9\frac{1}{4}$  печ. л. 12,05 уч.-авт. л. 11,44 авт. л.  
Сдано в производство 2/XII 1935 г.  
Подписано к печати 22/IV 1936 г.

Цена книги 5 р. 75 к. Переп. 1 р. 25 к.

II-я тип. и шк. ФЗУ Мособлполиграфа  
Зак. тип. № 209





16271



